

СТУДЕНТ

1969

15/16

СТУДЕНТ

ЖУРНАЛ АВАНГАРДА СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

15-16



1969

БОРИС ПАСТЕРНАК
СЛЕПАЯ КРАСАВИЦА

Copyright Flegon Press 1969

40 B, Greek Street,
London, W. 1.



*Printed in the UK. for Flegon Press
by Multilingual Printing Services
200 Liverpool Road, London, N. 1.*

Борис Пастернак

СЛЕПАЯ КРАСАВИЦА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ, управляющий,
ГЕДЕОН, усадебный механик,
ПРОХОР ДЕНИСОВИЧ МЕДВЕДЕВ, дворецкий,
ЛУША, ЛУКЕРЬЯ ПАХОМОВНА, горничная,
МИШКА,
ГЛАША, горничная,
СИДОР, полотер,
ФЕДОСЕЙ ДУЛЫЧ, лакей,
ПЛАТОН ЩЕГЛОВ, лакей, потом лейтенант РИММАРС,
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА СУМЦОВА, жена графа
Норовцева,
МАКСИМИЛИАН НОРОВЦЕВ, МАКС, граф, владелец
Пятибратского,
КОСТЫГА, разбойник,
ЛЁШКА ЛЕШАКОВ, разбойник,
ПАХОМ СУРЕПЬЕВ, отец Луши,
МАРФА, его жена,
ФРОЛ ДРЯГИН,
СТРАТОН, полицейский,
ШОХИН, десятский,
САША, АЛЕКСАНДР ГЕДЕОНОВИЧ ВЕТХОПЕЩЕР-
НИКОВ, сын Гедеоны, воспитатель детей в доме
Норовцевых,
АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец), французский писатель,
КУБЫНЬКО, СЕЛИВЕРСТ, станционный смотритель,
КСЕНОФОНТ НОРОВЦЕВ, дальний родственник графа
Макса,
ЧЕРНОУСОВ, НИКОЛАЙ (КОЛЯ), корнет,
ЕВСЕЙ, молодой крепостной Ксенофонта,
МАВРА, нищая,
ГУРИЙ, нищий,
КОРТОМСКИЙ, ЕВСТИГНЕЙ, помещик,
ОБЛЕПИХИН, генерал,
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Великий Князь.

ПРОЛОГ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Четырехоконный кабинет графа Норовцева в Пятибратском. Тридцатые годы девятнадцатого столетия. Конец пасмурного дня в октябре. В комнате столы, кресла, диван, полка с книгами. Больших размеров шкаф, загораживающий никогда не отпирающуюся дверь упрямленного прохода. На шкафу гипсовый слепок юношеской головы в парике Екатерининского века в большом увеличении.

Входит управляющий Христиан Францевич с усатый механиком Гедеоном.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Куда это их черт унес? Да, ковры они на дворе вытряхивают. Ну, так что ты там про деньги мне долбил?

ГЕДЕОН: Я говорю, сколько я с этой мельницей бился. Мне за починку следует. Но я знаю, в конторе ни копейки. Потому я в долг с возвратом прошу.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Какая у тебя каша в голове. С утра пьян, хоть выжми. В имении денег нет, поэтому он в долг просит. Точно в долг не деньгами дают, а овсом, предложим, или кислую капустой. Погоди. Хорт бежит. Наследит собака, а тут пол натерли. Нельзя его пускать. Отгони его, ради Христа. Боюсь я его.

(Лай собаки за сценой. Гедеон подходит к правой кулисе).

ГЕДЕОН: *(голосом устремленным за сцену)* Тубо, назад, назад! Нельзя сюда, Хорт. Ты бы лучше им Лешку Лешакова выследил, чем по чистым комнатам бегать!

(Возвращается на прежнее место).

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Опять ты мне Лешкой Лешаковым глаза колешь. Ты пойми раз навсегда, не мы его пороли. Он был сдаточный. Он из-под вотчинной управы попал под военную.

ГЕДЕОН: Его тут связанного мимо волокли. У него уже голосу и сил не хватало стонать. Он только как щенок повизгивал. Как людям из крепостных в разбойники не перебежать?

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Ты что в ту сторону уставился?

ГЕДЕОН: Голова на шкафу не посередке. Я влезу на стул, переставлю.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Дам я тебе эту голову в нетрезвом виде трогать. Ты за тем смотри, была бы твоя посередке. С утра пьян, хоть выжми!

ГЕДЕОН: До чего красавец, шельма. А кто он сам такой, никому не известно. А сколько народу в имении на одно лицо с этим хватом! Сам хозяин. Его камердинер Платон Щеглов. Недаром их иногда путают. А мужикам и бабам на деревне счету нет. Целое гипсовое племя. А кто он сам таков, этот удалец завитой, — загадка.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Вот ты загадки этой лучше и не трогай!

ГЕДЕОН: Я знаю про что ты сейчас слово ввернешь. Про поверье, будто если эту голову разбить, то имению конец. А ему и так конец, хотя головы этой никто не бил и не трогал!

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Действительно всё пошло прахом и держится на волоске. Земля, лесные угодья, постройки, всё, вплоть до движимого имущества описано и под запретом. Не сегодня — завтра всё это пойдет с молотка.

ГЕДЕОН: А ты всё удивляешься, что я пью и деньги клянчу.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: А тебе какое дело?

ГЕДЕОН: А что мне легко смотреть на это разорение? Ирод припадочный с дергающейся рукой! Всё свое спустил, её добро Сумцовское промотал, теперь к ее бриллиантам подбирается.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Да бриллианты-то ведь не твои!

ГЕДЕОН: А детские мои воспоминания мне не дороги, что ли? Мой родитель у них в домовой церкви священствовал. Я на каникулы в Сумцово из семинарии приезжал. С Леночкой в лес ходил по грибы, по ягоды.

ХРИСТАН ФРАНЦЕВИЧ: Мало ли, что с ней в детстве на дворе играл! Щеглов Платошка, например, хорошенький мальчик в черкеске, которого ей в приданое внесли и к Пятибратскому приписали.

ГЕДЕОН: Нет, ты говори яснее, что ты хочешь сказать?

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Ничего особенного.

ГЕДЕОН: То-то, что ничего. Я бы тебе морду набил в противном случае! Ты думаешь, легко мне слушать, как про них сплетничают встречный и поперечный?

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Сам-то ты сплеток не плоди, на сплетни плачась. Нет, бежать надо всем вольным отселева. Всё время как на вулкане. Вот Хорт, на что тварь несмышленная, не человек, ищейка, а и то покоя не найдет, мечется, что-то чует, бестия!

ГЕДЕОН: Бестия-то чует, а ты бесчувственное животное!

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Денег я тебе не дам, и не старайся просить, но с тобой заговоришься, забудешь, зачем сюда шел. С уборкой они заваландались, надо их взбодрить. От господ записка, чтоб не ждать их раньше трех дней. Значит они через три часа нагрянут, накрыть врасплох, показать, что есть хозяйский глаз. Я и поднял кутерьму. Ведь это они от сдачи рекрут укатали, подальше от бабьих слез. Рекрут сдали, они и воротятся. А у меня поважнее их приезда есть дела. Мне сейчас обоз с хлебом в город отправлять. Подводам давно пора в дороге находиться, а они еще за ворота не вышли. На дворе, видишь, хмурь какая. Рано темнеть стало. Того гляди дождь или снег. Мокрогодица попортит зерно Или в Княжой поляне Костыга с Лешкой разобьют подводу и на меня скажут — управляющий нарочно дело к ночи подвел, он с разбойниками в доле. Кстати и о тебе поговаривают, будто нам хозяйскую мельницу починил, а другую вора в овраге поставил.

ГЕДЕОН: Ах ты жила и дрянь! Мало тебе, истукану, синенькой мне пожалел ты еще на меня такую дичь взводишь!

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Слухом, брат, земля полнится. За что купил, за то и продаю. Но я не о том. Я говорю, сдаче рекрут больше недели, а мужики всё зверьми смотрят. Подводам давно пора в дорогу, а они за ворота не вышли. Я к амбарам. Там Агафон, Сурепьев и прочие встают, грузят, увязывают кладь. Долго ль, говорю, еще копать будете? Скоро ль, говорю, вашей возне конец? На дворе, говорю, хмурь какая. Того гляди, снег или дождь. Что же ты думаешь? Мужики туча тучею, и в ответ ни слова, точно не им сказано. Кнута не боятся.

ГЕДЕОН: А ты что хотел? Чтобы тебе плясали? С каких это радостей? Молодцов переженили, молодки забрюхатели, а ребят, глядь, на двадцать лет под красную шапку.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Сколко раз я графу Максиму Корниловичу говорил, надо было Пятибратское продать пока время было, а крестьян пересадить на самарские земли. А теперь поздно. Имение под надзором и арестом, и так расстроено, что никто и даром не возьмет. А соседство? А соседство одно чего стоит? Рядом по Владимирке арестантов гоняют. Леса полны беглых. Кругом разбойники. А военные поселения? А военные поселения, я говорю? Я тебе про военные поселения такого расскажу, что ты только ахнешь.

ГЕДЕОН: Уж воображаю, ахну. Скареда свинячая!

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: А что ты думаешь? И ахнешь. Вот слушай. Вижу я, значит, что крестьяне ненадежны: дай, думаю, своего человека к Стратону Силантьеву, Стратон — Налетову снаряжу, чтоб, неровен час, хоть полицейской помощью заручиться. Вернулся человек, рассказывает. На стану ни души. Одни бабы. Те только смеются. Военную команду в имение! Многого говорят, захотели. Аль говорят, не слышали? В уезде военные поселения поднялись, бунтуют. Начальство в разгоне, мечутся по волостям. Лето было жаркое, холерное. В лагерях в воду извесь сыпали. Много ли темному человеку надо.

Загудела толпа солдатская, дохтура отравителя. Народ ядом поят, хотят погубить. Сошлись толпой, фершалов на куски, казармы вдребезги, от командного штаба места мокрого не осталось. — Ах, вот они, соколики!

(Входят Луша и Глаша, замужние горничные, обе в положении, казачок Мишка, дворецкий Прохор и Сидор полотер с вычищенными коврами и занавесками).

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Я думал, померли, разини вислоухие. Я сюда шел, располагал, давно всюду блеск наведен, кабинет играет как стеклышко. А они только знают зевать да мешкать. Ну как не драть на конюшне вашего брата?!

ПРОХОР: Побойтесь Бога, господин управляющий. Люди с зари на ногах. Такой дом перебрать до последней булавки! Обе молодки с прибылью. И тем более Хорт, собака графская, мордой тычется, ковры трясти мешает. Да об какой важности речь? Доделать осталось сущие пустяки. Не извольте беспокоиться! Ковры положить, повесить занавески — плевое дело!

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: Тогда такой уговор. Мне в контору отлучиться, обозным сопровождение написать. А вы тут тем временем махом, и чтобы ни пылинки к тому времени как я ворочусь, чтобы у вас все играло как под орех. А коли паче чаяния без меня в суматоху нагрянут, вы мигом Мишку в людскую согнать народ многолетие спеть и безотлагательно за мной в контору. Пойдем, Гедеон!

ЛУША: Виновата, ваша милость. Осмелюсь предупредить. Как мы барынину половину проходили, в барыниной буре вижу левый секретный на палец наружу, ключ в скважине, видишь какой грех! Никогда такого не бывало, чтобы их сиятельство выдвинувши оставили. Не случилось бы горя! Я назад натолкнула ящик, заперла, вынула ключ. Вот он. Пожалуйста. Извольте взять.

ХРИСТИАН ФРАНЦЕВИЧ: На кой он мне шут. Ты хватилась, что непорядок, ты ключ и береги. Мне ее сиятельство описи драгоценностей своих не оставили. Пойдем, Гедеон.

(Уходят)

(Прохор с помощью Мишки принимается развешивать занавески, взбираясь на стремянку, которую он приставляет то к одному окну, то к другому. Сидор дотирает недотертые углы пола, женщины стелют ковры и обтирают пыль с мебели, вещей и безделушек на столах и на полках).

ПРОХОР *(с высоты поставленной стремянки)*: Вот за-
всегда у них так. Как распекать, да конюшной стра-
щать, это отчего же, это с нашим удовольствием, а
как самим ответ держать, это уж увольте, тут и след
наш простыл, тут душа у вас уйдет в пятки. Не так,
не так ковер стелете, бабоньки! Красный бухарский
надо вдоль, в одну фигуру с паркетом. А вы его по-
перек кладете! Ну, как, Мишка? Взгляни снизу.

МИШКА: Криво, дяденька Прохор Денисыч. Ламбриксит
правое ухо больно свесил. Маненько кверху подтяни.
Приколачивай правый подзор. Неужели правда у их
милости столько смелости вам штаны спускать на
конюшне рука б поднялась? Еще маненько подбери.
Еще. Еще. Будет. Стой.

ПРОХОР: Теперича как?

МИШКА: Теперь хорошо.

ПРОХОР: Нет, малый, на конюшне только скотниц да
кукольных мужиков стегут. А нашего брата лакея
во фрак наряжают да самих в город посылают на
съезжую с записочкой к приставу. Так мол и так,
совсем нас забыли, милейший Стратон Силактович,
глаз не кажете. Недозволен я подателем сего выезд-
ным Федоськой. Что-нибудь придумаете. Разберет
служивый по складам бумажку и летят в ход кулаки
и начинается палочная солдатская расправа. — При-
кинь на глаз, как подзор с подзором? Ладно ли
пришлись?

МИШКА: Оба в линию. Айда, пошли дальше.

ГЛАША: Ковры положены, Прохор Денисыч! Теперь что прикажете? Мы вперед было за тряпки взялись, вы нам выговаривали.

ПРОХОР: Теперь совсем другое дело. Меха начисто выколочены. Теперь можно вещи тряпками насухо пройти. Никто их больше не запорошит. А то мысленное ли дело с обтирки пыли уборку начинать?

МИШКА: Не, не, погоди Денисыч, что ты делаешь! Поперечину больно к потолку задрал. Опускай правый бок. Больше, больше опускай. А правда, рассказывают, Костыга атаман с нашими мужиками заодно? Будто он из-под земли вышел к Агафонову, к Суреньеву, к пильщикам, когда в Княжей деляне лес валили? Вышел из-под земли свой твердый зарок с ними сговорить.

ПРОХОР: Когда я тебя, горлопана, научу уму разуму. Такие вещи во все хайло орать! Неправда это все... Нахватался небылиц, не повторяй. В окно, в окно взгляните, бабоньки. Обоз наш с хлебом в город тронулся. Гурьском выкатывают за подводой подвода.

(Все подходят к окнам, смотреть вслед огибающему парк обозу. Прохор крестится).

ПРОХОР: Очи всех на тя, Господи, уповают. В город едут на гостиный двор. На продажу. Пять возов прошли, еще едут. Одним лесом да хлебом и держимся. Только бы все на перечет до торговых рядов дошли. Только бы какие не попали Костыге в лапы...

МИШКА: А правда, дядя Прохор, костыгинские под землей живут, всюю шайкой печной дым под землю прячут. А правда тута пять дядьев в незапамятное время не могли земли поделить, друг дружку зубами грызли. С тех пор и прозвание месту Пятибратское. И будто они наследника законного удавили во мдаденчестве и выдали за урода, теленка в спирту повезли в Питер в кабинет редкостей. Еще подводы из ограды на дорогу заворачивают...

ПРОХОР: Девять, десять, одиннадцать. Отверзают руку свою щедрую. Двенадцать подвод. Одним, говорю,

лесом да хлебом и держимся. Все прочее заложено. А может быть и хлеб не свой, верители за долги увозят. Нешто нам скажут... Ты, Луша, что думаешь? Ведь, это верно он, беспамятный, в ящиках ковырялся. Да вот ключи подбирать хватило у их светлости ума, а чтобы ящики назад задвинуть да запереть, на это не нашлось догадки. Все некогда, все фик да фак! Все торопится. Все ветер в голове... Еще две подводы. Теперь, видно, все четырнадцать подвод.

МИШКА: Вот вы говорите, дядя Денисыч, может в Пятибратском уже ничего своего, все заложненное. Может и хлеб-то чужой, заимодавцев. Ну, а ежели это правда? Ежели, к примеру, конторе графской продавать больше нечего, хоть шаром покати! Тогда дальше что ж? Какая господам доля участь? И что с нами, людьми графскими, будет?

ПРОХОР: Тогда дело дрянь, сынок. Тогда нас тут всех, как есть крепостных, с торгов распродадут. Дворовых — душами, в розницу, а барщинных цельными деревнями. Да и это только в том чаянии, буде мы куда-нибудь в ссудный банк под заклад не отданы. А может быть уже и мы с тобой давно неведомо чьи, чужие! Нешто нам скажут.

ЛУША: Вот этого, хоть режьте, ни в жизнь не пойму. А кажись, какое диво, пора бы привыкнуть! Но хоть и сама я раба, и новобранец муж, и отец-батюшка, и мамушка, и вся родня, никак я в толк не возьму — как я из человека вещью сделалась? Шифоньерку я обтирала, боялась оцарапать. А кто я такая шифоньерку обтирать, коли сама из графского обзаведения, может что и шифоньерке не чета, а совсем негожая. Дело спорное.

ПРОХОР: А что ты, Луша, думаешь? Цена тебе и дешевле. Это аглицкий палисандр маркетки с инкрустациями, шематоповой работы. За него таких как ты четырех аль пять девок надо отдать. Только ты над этим, дочка, не ломай голову. Ополоумеешь. Как, Мишка, не больно я в сторону взял?

МИШКА: Аль вы сами не видите, как вкось заехали. Словно вешали зажмурившись.

ПРОХОР: Знаю сам, что криво. Ничего не поделаешь. Оконный косяк не по правилу кладен. Выпирает вперед кирпич.

МИШКА: Видать это тот простенок, в котором графиня Домна Убойница повара живьем замуровала.

ПРОХОР: Ты бреши, сорванец, да знай меру. А что лютый зверь она была женщина, с этим кто будет спорить. Душ до полутораста, говорят, крестьян замучила истязаниями, смертомучительница. Деток малых и женщин, слабый возраст и пол любила пужать ажно инда до смерти. Наряд ее страшный маскарадный в гардеробной висит. Небось видали?

СИДОР: Не приходилось.

ЛУША: Видом не видала, слухом не слыхала.

МИШКА: А я подавно.

ГЛАША: И я...

(На туманной плоскости запотелого окна, на которое уже навешана гардина, отброшенная снаружи и увеличенная в размерах тень чьей-то головы. Потом другая. Какие-то двое попеременно поглядывают из сада).

ЛУША: Ах, ужаси какие!

ПРОХОР: Что с тобой?

ЛУША: В окно поглядите! Да не в это! Во второе с левого края.

ПРОХОР: Ну.

ЛУША: Ай не видите?

ПРОХОР: А что мне видеть? Нету там ничего.

СИДОР: Знать почудилось.

ГЛАША: Я тоже видела.

ЛУША: Великан агроматный в саду на дыбки стал в окно глазеть.

МИШКА: Померещилось.

ПРОХОР: Великан великаном, а ты, вот, Сидор, с паркетом управился, чем ротозейничать, тоже бы тряпку взял — молодкам пособил.

СИДОР: Справедливое ваше слово, Прохор Денисыч, я и сам хотел.

ГЛАША: А какой это, любопытно, вы говорили, наряд такой? Графовой прабабки этой страшной?

ПРОХОР: Ну, кажись, со всем, почитай, мы покончили. Мне только окно одно осталось да портьеру на дверь. Вам — только безделушки. А такой это наряд, милые, что к примеру во дворце графском гости, был пир, скажем, званый, веселье, барские гулянки. Отворяется дверь и ворвется она, пугало — барыня эта, срашивище, в глухом черном балахоне с малеваной рожей усатой, на подобие пучеглазой башки рыбьей, руки раскинет, будто кого ловит, будто для какой поимки, шасть налево, шасть направо и все от нее кубарем или снопами валятся без памяти. Она тут рядом, масляничная ее краса. Поищу, наведуясь. Найду — покажу.

(Уходит)

(Опять то же самое поглядывание)

ГЛАША: Опять лазутничает. Ну, что ты скажешь! Надо посмотреть, отвори окно.

МИШКА: Это ветер дерево к окну бросает. Загораживает свет.

СИДОР: Ни ветра на дворе, ни дерева я тут что-то не припомню. Одначе посмотрим.

(Отворяет окно)

Видишь правда померещилось. Ни души кругом. Ну, баста растарабарывать. За дело. Правильно Денисыч — дворецкий надоумил. И я тряпку возьму.

МИШКА: Вот что графиня-чудище думала, что хочу, то и могу, кто мне указ. Душам своим я полная хозяйка. А нашлась и на нее управа.

СИДОР: Любовника она с царицей не поделила, вот тебе и управа

ГЛАША: Сидор Пафнutyч, какой вы страмник в самом деле. Такие слова при невинной дите.

МИШКА: Чай я не маленький, тетенька Глафира. Какие это слова. Я почище слова не знаю.

СИДОР: Любовника она с государыней Екатериной не поделила, вот руки ей и связали. А мужики погубленные им что. Как прошлогодный снег.

(Лай собаки за сценой. Сидор подходит к окну)

Назад, назад, Хорт. Паркет мне залапаешь. Не пуцу я тебя сюда.

МИШКА: А правда, я слыхал, будто вперед Домну эту из графинь разжаловали и приговорили к повешенью, но помиловали и даровали жизнь. И будто когда палач на площади ее на высоком помосте плетью хлестал, народу сбилось видимо-невидимо и какие даже без памяти падали, толикий ужас было глядеть. Водой отливали. И будто какие жалостивые деньги бумажные подбрасывали на эшафот, палача задобрить, для послабления. Не так с плеча бы ее вытягивал.

(В страшном ужасе накрик)

Ай, ай, гляньте, страсти какие!

(Беглым шагом вбегает Прохор в костюме и сомовьей маске легендарной Домны Убойницы с движениями, которые он сам выше описывал. Глаша вскрикивает истошным голосом, Луша, схватившись за борт шкафа, прислоняется к нему, чтобы не упасть. В это время, вставши на стул, Сидор снимает со шкафа гипсовую голову, чтобы обтереть ее. При виде этого Прохор быстро срывает с себя маску и распахнув домино, кричит):

ПРОХОР: Эй, эй, браток! Нешто можно эту вещь так прямо лапами! Становь скорей куда-нибудь, пока не разбил.

СИДОР: Вы, Прохор Денисыч, чем меня учить, сами бы лучше умом дошли женщин с брюхом расписными харями не пужать. Оно и выкинуть не далеко и юрода пуганого родить очень просто. А касаемо го-

ловы, голова как голова, ничего ей не подеется. Меня не надо понукать. Это того шатуна голова, от которого Домна с государыней разодрались да стукнулись, я и сам знаю . . . А коли не того волокиты . . .

(Прохор окончательно освободившись от маски и домино и рассеянно бросив их как попало на дальнее кресло):

ПРОХОР: Да что ты, греховодник, ее в руках мнешь? Обтер и ладно. Становь на место.

СИДОР: А коли не того хвата удальца, так опять я знаю, с кого сделано это каменное обличье. Это того мальчишки голова, которого после казни Домна на цепи в монастырском застенке от солдата караульного пригуляла. Его, сказывают, еще сюды в именье возили, растили, прятали. В гвардейца, сказывают, произвели. Его и голова. Куды он потом девался?

МИШКА: Ай дядя Прохор. А я и не углядел, как ты последнее окно осилил да дверь одолел. Только портьеру криво повесил. Левая пола бахромой на пол легла. Ты верхний край попышнее складкой в карниз пусти. Шнуром перехвати, пуфом выпусти. А правда, сказывают, будто его сиятельства камельдин Платон Щеглов, барынин жалостиливец и заступник, по-русски сказать хвост аль хаварит.

ПРОХОР: Откуда ты таких слов набрался, пострел сопливый. От твоих речей смотри что с тетей Лушей сделалось. Все лицо стыдом обдало.

ЛУША: Скажут тоже, стыдом. Что мне стыдиться. Так что-то. Нехорошо мне. К горлу подкатывает. Занимает дух.

СИДОР: Нет, полно, Лукерья Пахомовна, не отвертитесь. Только Платона назвали, а вы во как маков цвет вспыхнули.

ЛУША: Зачем выдумывать! Маков цвет . . . Я замужняя. Что мне во Платоне вашем. Нашли невидаль.

ПРОХОР: А заглядывалась.

ЛУША: Мало ли что заглядывалась. В какой девке сердце не зазнобчиво.

СИДОР *(не своим голосом)*: Пропали! Едут . . .

ПРОХОР: Его правда. По дороге ребяташки как от медведя врозь кинулись. А вот и выносные, вот и карета.

(При первом упоминании господ Луша падает, потеряв сознание. Но и остальные мечутся без толку кругом в беспричинном общем перепуге).

СИДОР: Сейчас взойдут!

ПРОХОР: Мигом Мишка, в людскую, кричи дворовых господам с приездом величание хором спеть.

(Мишка уходит)

Что вы взад и вперед как угорелые мечетесь? Видите, карета у конторы стала, стоит. Видишь управляющий остановил, нам знак подать и наши недоделки на скорую руку помочь ускорить. А мы и без того готовы, комнаты в полном порядке. Глядите, Луша на полу валяется, новость какая!

СИДОР: Нашла время обмирать! С минуты на минуту взойдут, увидят — непорядок.

ПРОХОР: Что с ней? Али женская какая немочь?

ГЛАША: С ношею.

ПРОХОР: А ты?

ГЛАША: Я крепче.

ПРОХОР: Глупости, какая это болезнь? Просто, услышала «едут» и сомлела. Кто из нас ока барского не трепещет, не торопее.

СИДОР: Голос господский слышу — мертвею.

ГЛАША: И я, как лист дрожу. Холодеет кровь. Луша, Лушенька! На вот, водицы испей. И опрысну я тебя. Ну же, очнись, дурочка! Не время обмирать.

СИДОР: Надо на руки ее и вынести вон. Того гляди, подъедут, взойдут, осерчают.

ГЛАША: Вставай, вставай, Луша. Господа. Обдернись, оправься!

(Луша поднимается, обтягивает на себе платье, проводит ладонью по лбу, по глазам)

ПРОХОР: Вот вы говорили личиной маскарадной я женщин в антиресном положении пужаю. Эта личина

малеваная против крепостной доли. А ведь наши господа другим не в пример, сама доброта. Днем с огнем не отыщешь. А услышала сенная — господа едут — и замертво шлепнулась. Вот как запугана Русь крестьянская барами!

ЛУША: Что это грешной мне попричудилось. Сжалось сердце мое вещее.

(Входит выездной лакей Федосий Дулыч в шинели с галунами с двумя большими дорожными баулами и ставит их на небольшую деревянную лавку у двери)

ДУЛЫЧ: А вот и мы, откуда ни возьмись. Небось, заждались, иссохли?

ПРОХОР: Ничего, Бог упас. Жили не плакали.

ДУЛЫЧ: Дорожное, все что будут вносить — сюда. Воды барыне в туалетную. Его сиятельству пару да веников в баню. Ужинать в малой закуской на два прибора. Что огня не зажигаете, темь какая.

ПРОХОР: Это вам с вольного воздуха, а мы пригляделись. Рано. Скажут, хозяйского масла не жаль.

ДУЛЫЧ: На лестнице Мишка под самые под ноги подкатился. Что такое? Не конец ли какой?

ПРОХОР: Как же. Встречу собирались делать честь честью. С многолетием!

ДУЛЫЧ: Напрасно. Совсем напрасно. Не до того. Не в ладах приехали. Она глаза выплакала. Сам зол как черт.

ПРОХОР: Что так? Ай напасть какая?

ДУЛЫЧ: На все та же мелеза. Судебные иски. Безденежье. Чем ему от нависшей беды откупиться? Что дорогого было, не приведи Бог! Весь путь бриллиантами этими жилы из нее тянул, дай, дай. Без малого подрались. Платон с велика ума задумал сунуться, вступиться — чуть не убил. Тсс . . . Идут. Сами.

(Стронится, чтобы пропустить входящих. Он и отступившая в глубь кабинета прислуга думают, что входит граф с графиней, но это в молчаливой задумчивости входит Платон Щеглов со множеством мелких сумок и дорожных мешков, которые, осмот-

ревшись кругом и кивком поздоровавшись с остальной челядью, он кладет к баулам на лавке. Спустя мгновение входит графиня Елена Артемьевна в низкой вуали и длинном дорожном платье. Войдя с воли в сразу охватившей ее неожиданной темноте, она делает несколько неуверенных шагов и останавливается у порога. Теснящиеся на заднем плане люди стоят в ожидании, чтобы заговорить, когда барыня обратит на них внимание, но она их еще не видит или не торопится увидеть)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ты уже здесь, Макс. Я не заметила, как ты прошел. Только не сейчас. Отложим этот разговор.

(Спыхватившись)

Опять, Платон, я тебя за барина приняла!

ПЛАТОН: Я не знаю, что со мной будет. Мне б за вас, на ваш счет успокоиться. Уступите ему, ваша светлость. Съест он вас поедом этими драгоценностями.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Что ты, Платоша? Чтоб я ему эти сокровища отдала? Да ни за что на свете! Им цены ведь нет. Лучше я тайком от людей их сама тебе положу из полы в полу, в каком-нибудь темном уголку, чтобы бежал ты куда-нибудь подальше за Дунай. Не житье тебе больше здесь. Не спустит он тебе этой дерзости.

ПЛАТОН: Уступите, ваше сиятельство. И оставьте эти речи сумасбродные. Вы себя погубите. И примите в соображение, не из дерева я. Не каменный.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Погоди. Тише. Я раньше не видала их. Смотрят на нас. Теперь можно. Отвернулись. Слушай. От Бога не укроешься. Он видит нас. Но ты чист перед Ним. Между нами еще нет греха.

(Удивительный мужской взгляд в упор. Счастливый женский смех в ответ)

Это еще не грех, глупенький! Постой. Опять глаза таращат, проклятые. Можно. Отвернулись. Вот сделаем мы с тобой. Вот завезу я тебя херувимчика, шалуна, резвунчика, которых в театрах показывают.

Вот это будет грех! Да и то не грех. Тыфу провал вас возьми, ужю проучу вас наглецов. Опять буркалы наставили. Постой покличу я Прохора людей увести. Прохор, поди сюда! А, Прохор Денисыч! Здравствуй! Как живешь-можешь?

(Прохор подходит ближе)

ПРОХОР: Благодарствуем. Здравие желаем, ваше сиятельство! Добро пожаловать! Вы бы, ваше сиятельство, виноват, не позволяйте сердчать, вперед с людьми поздоровались. Они в вас души не чают, на вас очи в очи воззрились, а вы в ответ ни даже бровью — печалуются. Не прикажите казнить за слово прямое. Я добра желаю.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Нет, какое »казнить«, зачем казнить? Напротив, спасибо, что подумал. Но я сама собиралась сейчас с ними заговорить, приласкать их. А пока вот тебе какое поручение, Прошенька. Я не таюсь от тебя. Я не боюсь тебя. Мне надо с Платоном наедине посоветоваться. Ты знаешь — Платон опора моя. Платон за мной в приданое дан. Платон наш, Сумцовский, папеньким.

(Приходя все в большее волнение, громко, раздраженно)

Вам, Пятибратским, хотелось бы меня донага раздеть, отнять последнее, голой по миру пустить. Не дам себя с костями съесть. Не бывать по вашему!

ПРОХОР: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА *(овладев собою)*: Фу ты, как расходилась, стыд какой! Едва дух перевозжу. Так вот, я говорю, Прохор, Платон — опора моя, заступник мой, женская моя жалоба. Мне надо с ним один на один поговорить. Я людей сама отпущу. А ты вниз сходи. Там управляющий к барину привязался с разговорами. Ты от себя прибавь. Рессора, де, каретная в неисправности, с лошадьми непорядок. Ступай, голубчик, время мне оттяни. Видишь, я доверяю тебе. Я не боюсь тебя!

ПРОХОР: Эх, барыня, ваше сиятельство! Не могу не предостеречь. Не на той вы дороге. Не осудите на

прямом на смелом слове. А ты, Платон, что о тебе уж говорить! Твой грех, твой ответ. Своей охотой в петлю лезешь. Сейчас побегу сделаю, как приказали, не смею ослушаться. Только должен предупредить, как вы уединиться желаете, вам дворня хлеб-соль собирает. Как раз сюда во многолюдстве хлынут, помешают.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Действительно, ни к чему это! Совершенно лишнее. По пути к карете загляни мимоходом в людскую. Отговори их. Скажи, барыня не велели, заказали строго-настрого. Как раз ввалятся! Ступай голубчик.

ПРОХОР: Слушаю, ваше сиятельство.

(Уходит)

(Е. А. подходит к кучке толкущейся прислуги в глубине комнаты. Полотер, сенные кланяются ей в пояс, прикладываются к протянутой руке, целуют в плечо)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Здорово, родимые. Спасибо на памяти, на ласке, на верной службе. Как живы-здоровы?

СИДОР: Вашими молитвами, благодетельница! Что нам, людям, деется. За вами как за каменной стеной.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Знаю, что не во время, сверх ожидания.

ЛУША: Зато тем лестней, тем радостней.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Как снег на голову.

ГЛАША: И ни-ни, Боже мой.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Но это не к тому, чтобы на том накрыть невзначай. Это без умысла. Просто загорелось его сиятельству домой и домой. Два дня выгадали, замучили людей, загнали лошадей.

ЛУША: Об этом извольте не беспокоиться! Разомнуты, отойдут.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Что это, Сидор, не знаешь ли, какая причина. На Сумцовских и на наших межах неизвестные попадали навстречу. И обгоняли. На ходу из кареты не могла взглядеться. Бывали и раньше — путники пешие, странники, увечные. Но не в

таком множестве. А тут в глазах рябило. Идут, не смотрят. Бродяги какие-то...

ЛУША: Бродяги и есть, ваше сиятельство!

СИДОР: У кантонистов в лагерях каверзы, неурядицы.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Военный бунт, я слышала?

СИДОР: Так точно, ваше сиятельство!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Чрезвычайное прискорбное обстоятельство, которое будет иметь еще более печальные последствия.

СИДОР: Делов натворено, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Подоспел разбор, расправа. Винаватые, как могли — наутек. Ну и замешанные, кого против воли впутали.

ГЛАША: Вот леса швали бездомной и полны.

ЛУША: И разбойники зашевелились. Осмелели. До кухни докрадываются не боятся.

СИДОР: И рекруты на сборе озорничали; хвалились воротиться невдолге домой!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА (*крестится*): Святители небесные, какие страсти отовсюду! Авань Господь не попустит. Страшен сон, да милостив Бог. А теперь, вот что, любезные! Устала я с пути-дороги. Ступайте. Отпускаю вас, одну оставьте меня.

СИДОР: Слушаемся и всепокорнейше удаляемся. Но позвольте уведомить. Вам дворовые желают уважения сделать, повеличать.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Знаю. Я послала сказать, что не велю. Вы тоже подтвердите, что величание приказано отменить.

СИДОР: Слушаемся.

ЛУША: Пойдем, скажем.

ГЛАША: Это как ваша воля.

(Уходят)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Наконец-то! Торчат, не отвяжуются. Скорей, Платон. Не стой как пень. Каждая минута дорога. Сейчас войдет барин, пойдет липнуть с этими драгоценностями. Я ему нипочем не дам. Живая не дам. Но какими словами отбояться? Да,

а каков Прохор, подлый холоп! Туда же поучать и умничать. Не на той вы дороге. Я тебе покажу дорогу! Я тебя проучу дурака. Ну, так что же ты молчишь?

ПЛАТОН: Скажите — не упомяну, куда положила. Все перешарила, не найду. А лучше бы отдать!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Какой совет бестолковый! Он меня насмех подымет. Скажет — полно комедию ломать! Мои сенные и те знают. Все богатства в футлярчиках, а футлярчики в письменной стойке под ключом. Не мог поумнее придумать?

ПЛАТОН: Скажите были в конторке и нет! Пропали!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Он уезд подымет на ноги. В имении Стратон Налетов станет с военной командой. Все перевернет вверх дном, всех перепорет, чтобы разыскать покражу.

ПЛАТОН: Только бы неделю выгадать!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Почему неделю? Ты на что надеешься?

ПЛАТОН: Право не знаю. Что-то в воздухе чуется. Наступает!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Почему неделю? А каков Прохор, говорю. Вот бы кого мне не жаль велеть сквозь палки прогнать. Так почему неделю, я спрашиваю! Тише. Молчи. Барин!

(Входит граф Макс, сухой, заносчивый, взбалмошный. Лет под сорок, с бритым дергающимся лицом и плечом и вдавшейся внутрь складкой в левой щеке — хирургическим швом или следствием ранения. В руке у него легкий дуэльский ящик)

ГРАФ МАКС: Не помешаю?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Какие глупости! Зачем кривляться?

ГРАФ МАКС: Возьми пистолеты, Платон. Один осекаться стал. Разряди оба и смажь. Не изувечишься?

ПЛАТОН: Смеяться изволите. Сколько раз я вам и прочищал. Вы меня в Санкт-Петербурге их по объявлению покупать посылали. Запоматовали.

ГРАФ МАКС: Молчать! Не рассуждать! Распустили языки. Отвечать коротко, по военному.

ПЛАТОН: Так точно.

ГРАФ МАКС: То-то вот. Пошел вон. Я еще сочтусь с тобой.

ПЛАТОН: Ваша воля.

(Уходит с пистолетами)

ГРАФ МАКС: Наконец то мы наедине, без посторонних. И у себя дома. Как я ждал этой минуты! На душе просто какой-то праздник. А планы, а планы! Если бы вы знали, что у меня в голове делается, что я себе рисую!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Я очень рада.

ГРАФ МАКС: Поскорее, не откладывая, без приготовлений заложить основание совершенно нового порядка. Сейчас вы мне дадите эти ценные побрякушки. Я завтра повезу их показать оценщику в город, мне снова откроют кредит. У нас сразу все завертится и жизнь пойдет как по маслу.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Но вы еще в дорожных сапогах и плаща не сняли. И я смертельно устала с дороги и не успела переодеться. Утро вечера мудренее. Завтра, Макс.

ГРАФ МАКС: Так дальше продолжаться не может. Мы на краю гибели. Но еще не поздно. Христиан Павлович говорит, две-три решительных меры...

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Завтра, Макс.

ГРАФ МАКС: Приезжаешь к себе в имение словно в заколдованное какое-то царство. Ничего не понять. Все перемешалось. Лакея нельзя наказать из страха, не доводится ли он тебе чем-нибудь, не двоюродный ли брат он твой или дядя! Кто этот красавец на шкафу, спрашиваю я вас, на которого вы тут так загадочно похожи? Что это, родопочальник нашей графской линии или прадед наших землепашцев? Где кончается моя власть и начинается хозяйничание разбойников в Княжой поляне? Но дело не в том. Дело в том, что прежние способы ведения сельского хозяйства устарели и больше никуда не годятся.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Довольно! Это уже слишком. Наперед знаю, что вы сейчас скажете.

ГРАФ МАКС: Что вы кричите?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: А вы что вечно краснобайствуете, врете, по губам мажете. Сейчас вы поедете языком освобождать, с барщины на оброк переводить, на словах давать дворовым вольную. Наслушалась досыта ваших выдумок. Довольно! Довольно!

ГРАФ МАКС: А разве мои намерения не искренни?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ах, значит, они искренни? Тогда что долго разговаривать?

(Сорвавшись с кресла, на которое присела, не заметив на чем сидит, и в крайнем раздражении подбежала к одному из столов)

Прошу вас. Пожалуйста. Вот свежее очиненное перо. Вот чернила, бумага. Садитесь и пишите всем общую отпускную. Я вам подскажу, если вы не умеете. Сельцо Пятибратское сего тысяча восемьсот тридцать пятого года, сентября месяца, двадцатого числа. Великомученика Артемия, папенькин день ангела, а я дочь недостойная и запамятовала. Ну, что же вы? Ну, что же вы? Ага, как всегда, одни громкие слова! Немного же стоят ваши непритворные решения.

(Возвратившись к креслу и заметив перекинутое через спинку домино и висящую маску)

Что это такое?

ГРАФ МАКС: Покажите, я взгляну. Это прабабки графини Домны масляничное одеяние. Как оно ко мне в кабинет попало? Безобразие. Чье это самоуправство?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Прислуга дом убирала, вещи переносила из комнаты в комнату. Недосмотрели. Или даже баловались в наше отсутствие и оставили следы, сейчас же и взыскивать? Нечаянность. Но вы мне Домной зубов не заговаривайте. Вот ваша вольная. Как всегда, один пустозвон.

ГРАФ МАКС: Я вам докажу, что нет. Это росчерком пера не делается. Надо снестись с уездной Земской управой, совершить акт в вочинном управлении. Наверное в окружном суде встретится препятствие. Я даже предвижу какие. Но именно с вашей помощью

мы все эти трудности бы и преодолели. Где ваши бриллианты?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Но это бесчеловечно. Неужели нельзя отложить этот разговор на завтра?

ГРАФ МАКС: Ради кого вы решили беречь эти сокровища? Мы бездетны.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Не меня ли вы вздумаете упрекнуть в этом?

ГРАФ МАКС: О, нет. Вина моя, я знаю. Я старый развратник. Но это не меняет дела. Когда мы умрем, Пятибратское со всеми улучшениями, какие я внесу в хозяйство и в том цветущем состоянии, в которое я приведу имение, достанется моему племяннику графу Ириню. Вы это знаете.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Прекрасный, многообещающий юноша. Вы его мизинца не стоите.

ГРАФ МАКС: Нечего сказать, радующие задатки. Театры, сочинители, сумасбродства.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Лучше сотни тысяч просаживать с собутыльниками в кабаках и с сударками в притонах.

ГРАФ МАКС: Нет, вы не шутя решили вывести меня из терпения. Как вам вдолбить в голову, что своей несговорчивостью вы вредите себе самой. В практических делах вы не смыслите ни аза, вы — круглая дура. Доверить эти ювелирные вещицы мне на сутки-другие в вашей собственной выгоде. Дайте мне скорее эти ларцы. Не доводите меня до исступления.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Я устала.

ГРАФ МАКС: Но ведь это не булыжники для мощения дороги. Скажите, где они, я как-нибудь дотащу.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: В том-то и дело, что у меня совсем вылетело из головы, куда я положила их в последний раз. Перед отъездом я в страшной рассеянности перебирала их, что-то перекладывала. Лошади были поданы. Вы меня торопили. Я даже теперь не знаю, где их искать. Все пропало из памяти бесследно. Завтра встану и сосвету восстановлю все мало-помалу. Потерпите!

ГРАФ МАКС: Ах, если только за этим дело стало, предлагаю вам свои услуги. Я устраню препятствия. Я догадываюсь, где хранятся эти брошки и ожерелья. Сейчас я принесу их.

(Быстро выходит из комнаты)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Макс! Макс! Вернись! Не надо. Я сама найду их.

(Убегает из комнаты за ним следом)

(Некоторое время комната остается пустой. На дворе начинает сыпать снег, редет, перестает. Снова на плоскости окна тени двух голов, сначала одной, потом другой. Потом окно тихонько отворяется и через него беззвучно и осторожно влезают Костыга и Лешка Лешаков. Костыга тотчас-же идет к креслу с Домниной маскарадной одеждой и то и дело оглядываясь и прислушиваясь, начинает примерять ее)

КОСТЫГА: Ихний человек в это наряжался.

ЛЕШКА ЛЕШАКОВ: Дворецкий Прохор, я видел.

КОСТЫГА: Надо перенять.

ЛЕШКА ЛЕШАКОВ: Какая корысть?

КОСТЫГА: Покама темно. Корысть потом себя скажет.

ЛЕШКА ЛЕШАКОВ *(осматриваясь кругом)*: Я сюды дрова таскал вязанками. Печь топил. Тут в печи есть рукав.оборот.

КОСТЫГА *(доведя до конца переодевание, в домино и в маске, собираясь снять их)*:

ЛЕШКА ЛЕШАКОВ:оборот в печи.

КОСТЫГА: Какой? Говори скорей.

ЛЕШКА ЛЕШАКОВ: Бегом отселева. Идут сюды.

(ЛЕШКА вылезает в окно, притворив его. Костыга не успев снять костюм, в домино и маске прячется за шкафом. Быстро в слезах и кусая губы вбегает Елена Артемьевна. С перерывами выпадавший снег совсем перестает. В разрывы движущихся туч светит полный яркий месяц. Свои мысли вслух Елена Артемьевна произносит возбужденно, расхаживая взад и вперед перед окном, и при каждом появлении месяца из-за облаков, безотчетно поворачивается к окну, привлеченная им и как бы в этом движении обращаясь из глубины души к просветлевшему небу)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Неродовитостью вздумал меня корить в довершение всего. Мы де, Норовцевы-Рюриковичи, а вы, Сумцовы — без году неделя дворяне. Зачем я побежала сюда, его там одного оставила распорядиться? Мне голоса тут почудились. Послышалось, будто с кем-то разговаривает Платон. Мне сейчас Платона до зареза, до смерти надо. На одно минутное словечко. А тем временем этот идол постылый там буйнит. Мои ящики поламывает, в них копаются. Я покажу вам неродовытых Сумцовых, вор, взломщик, грабитель! А приданое мое было родовитое, вор, вор, вор! И этому выродку, этой мрази с гонором я всем пожертвовала, неведением души, друзьями, счастьем в батюшкином доме. Тут лежала какая-то мантия маскарадная на кресле. Куда она девалась? Все невнятницы какие-то, невразумительные загадки. Сумцовы неродовиты, а по чужим ящикам лазить, самоуправствовать это родовито! Геден бедняжка, какие надежды подавал, а как опустился. Из кандидатов богословия в слесаря! И все-таки вы в дураках, Рюрикович с отмычкой. Хорошая доля драгоценностей на мне за кушаком в мешочке. Жаль, что не все, меньше половины. Не успела. Второпях перед отъездом ящики опорожничала. В пустые футляры охотничей дробин насыпала для весу. В карету звали. Все побросала недоделавши. А что мне эта роскошь, пропади она пропадом! Так и кинула бы ему в рожу эти ларцы и шкатулки, в жадные его стяжательные глаза. Бери и подавись. Кабы только вот не Платон. Ради Платона нельзя мне выпускать из рук эти, эти как это называется (смеется) бразды правления. С детства не могла мириться с его неволей. Так нейдет ему быть лакеем, слушаться и угождать льстиво, безропотно и подобострастно. Какой-то другой он. Говорят, таинственных он каких-то кровей. Да не все ли равно! Все равно Платон. Пришел час долгожданный. Конец твоей кабале. Шабаш. Освобожу я тебя сегодня. Сама не знаю как, а знаю — освобожу! Не гнуть тебе больше шеи. Вырвешься ты на волю, улетишь от меня сокол мой! А потом, за тобой, может быть и я. Тут может быть такое заварится!

(В дикой радости начинает скакать по креслам, одумывается, вздрагивает, точно избавившись от какого-то наводнения)

Однако, надо поскорей к себе назад. Не натворил бы там чего-нибудь этот пентюх.

(Уходит)

(Голова Лешки Лешакова появляется в окне и исчезает. Через минуту в комнату быстро входит граф Макс с футлярами, шкатулками, торчащими у него из карманов, и множеством других ящичков, часть которых он держит в руках, а другую часть целою охапкой прижимает к груди занятыми руками. Несвобода рук и тела стесняет его движения и ответы. За ним вбегает Елена Артемьевна, спеша отнять ящички и на ходу крича на него)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Не смейте трогать! Это мое. Отдайте назад! Я вам сказала. Я дам вам эти украшения сама. Но потом.

ГРАФ МАКС: Как же! Держи карман! Я их получу после того, как ими завладеет и удерет с ними мой лакей и ваш любезный! Вы думаете, я ничего не знаю? Ошибаетесь, сударыня. Все известно. Вы вывели на свежую воду.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Какая низость! Я знаю чьи это козни. Это Суретьевские проделки. А вы верите доносчикам, не понимая причины их ненависти ко мне. А дело в том, что их дочка Лушка как кошка влюблена в Щеглова и в помрачении рассудка видит, чего нет.

ГРАФ МАКС: Потому, что ревнует к вам Платона Щеглова.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ложь и низость! Немедленно признайте себя неправым! Немедленно попросите извиненья!

(Подбежав к графу Макс у вырывая у него из рук футляры. Часть их он роняет сам и не может нагнуться и поднять, скованный в движениях набранными предметами)

Клеветник и грабитель! Немедленно отдайте все, что до одного!

(Освободившейся рукой граф Макс отрывает от себя вцепившуюся Елену Артемьевну и сильным движением отталкивает прочь так, что она с размаху падает на пол)

Негодяй! Помогите! Помогите!

(В комнату вбегает Платон Щеглов с пистолетами в ящике и бросает ящик на стол. Подбегает к графине и помогает ей подняться. Она до половины роста прячется за спину высокого кресла, в опасении, что граф снова набросится на нее. Но в эту же минуту Платон преграждает графу дорогу, схватывает за обе руки и вытянув их кверху, долгое время держит крепко стиснув в запястьях. Все, что было в руках графа, валится на пол. Отвлеченные важностью происходящего, спорящие не обращают внимания на упавшие в беспорядке предметы, и только позднее плохо лежащие несметные богатства привлекают посторонний взор, кого вводя в грех, а кому напоминая о совести и долге)

ПЛАТОН (безрассудочно, очертя голову): Не извольте трогать барыню, ваше сиятельство! Я их особы не дам в обиду. Я за графиню Елену Артемьевну в огонь пойду!

ГРАФ МАКС (в бешенстве, изгибаясь направо и налево в безуспешном усилии выдернуть из рук Платона свои):

Как! На своего богоданного владыку руку поднимать! Прощайся с жизнью — злодей бессовестный! Мало тебе содеянных мерзостей, у тебя стыда хватает о них на весь свет горло драть. Ну, так нет тебе помилованья! Переломают тебе кости на конюшне!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Не верь! Не бойся! Не спущай, Платон. Поперек двери лягу, на ногах повисну, не допущу!

ПЛАТОН (*пораженный внезапной мыслью, безумно, с подъемом*):

Не извольте дергаться, ваше сиятельство! Сейчас я сам вас отпущу. Я знаю, все равно час мой пробил! Я голову свою перезакладывал. Теперь, была не была, мне дороги нет назад. Вот пистолеты, ваша светлость. Я из них зарядов не вынул. Как я руки разожму, да вас выпущу, вы тотчас прицел по мне и бах в меня! Вы в гвардии стрелять учились, не дадите промаху! Но всяко бывает. На грех мастера нет, человек так, а Бог по-божьему. В таком случае, коли я уцелею, дайте мне ваше слово графское, дворянское, что другой выстрел будет мой и вы тоже под мушку станете, не уклониться!

ГРАФ МАКС: Светопреставление! Светопреставление!

Уму не постижимо! Либо я сам рехнулся, либо мне весь свет с ума сошел! Меня раздувайка сапожная, меня помело кухаркино на дуэль вызывает! А моя благоверная в секунданты противной стороны зачисляется! Это ли не красота картина? Но не бывать по-вашему. Крикну я сейчас своих верных слуг, свяжут они тебя и в город отвезут. А там тебя без суда за буйство повесят. А вас... а вас...

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: А нас?

ГРАФ МАКС: А на счет вас тетушке — молитвеннице отпишем проточернице Федулии, чтобы вас в общину приняла на исправление.

(Входит Прохор, впопыхах не разобрав, что тут твориться и обращается к графине, тоже не успев толком присмотреться к ней)

ПРОХОР: Виноват, что без спросу вошел, самовольно. Упредить тороплюсь. Величальщики эти. Хоть кол на голове теши — никакого понятия. Я говорю — не велено толпой в барские хоромы. А они знай свое. Приказано миром славу спеть. Сейчас ввалятся.

(Только теперь заметив, что происходит между Платоном и графом)

Господи! Господи! Да что же это такое? В своем ли ты уме, Платон! Посягнуть на своего барина! Сейчас же брось буйствовать и вались в ноги их милости, вались и оставление жизни вымаливай — бес де

попутал. Ваша светлость, сударыня-матушка, прикажите ему опомниться. Он вас послушается.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Умница, Платон, молодец! Отчаянный, аховый, безрассудный! Ставь все ребром, на авось! Бейся с ними. Ты это удивительно придумал. Стреляйтесь, граф. Он вам делает честь. А то я, вместо него отвечу, коли он вам не резон.

ПРОХОР: Господи, святая твоя воля, не слышали бы этого мои уши, не видели бы глаза.

(Хочет силой оторвать Платона от графа, но за него хватается и держится Елена Артемьевна, о сопротивление которой, ввиду ее неприкосновенности, разбиваются Прохоровы усилия)

ГРАФ МАКС: Что ты руки опустил, Прощка! Думаешь прогнать ее нельзя? Делай с ней что хочешь. Бей ее по лицу обманщицу негодную, коварную переменщицу. Не знал я, какую змею отогрел на свою шею. Отступаюсь от нее. Больше она вам не бариня. Убей ее до смерти, я награжу тебя вольною! Об чем это внизу шумят?

ПРОХОР *(схватившись за голову)*: Господи! Все рушится, ломается. Все в расстрой пришло. Это, ваше сиятельство, с хлеб-солью величальщики, по неведению. Я навстречу побегу, назад их погоню, не до них, мол.

ГРАФ МАКС: Напротив. Сюда кличь. Граф мол милости просит. Они слуги верные. За барина заступятся.

(В комнату начинают набиваться крестьяне и дворовые, чтобы принести поздравления со счастливым приездом. Впереди Мишка с малою иконкой на перекинутом через шею полотенце и Флор Дерягин с хлеб-солью на блюде. Обнаружив то неслыханное, что совершается в комнате, мужики и бабы смущаются, переглядываются, топчутся на месте и жмутся к дверям. Икону уносят, не видно больше блюда с хлеб-солью. Часть народу расходится. Пахом Суретьев, отец Луши, выходит из толпы вперед, наклоняется к разбросанным на полу футлярам, не может отвести от них взгляда, подбирает один за другим, воровски косясь на наблюдающую за ним

толпу, переносит их вглубь кабинета и кладет на стол, всем видом показывая, что делает он для соблюдения в целостности господского имущества)

ПАХОМ СУРЕПЬЕВ (покачивая головой): Дивна, как бестолочь. Ни пути, ни ряду.

ПРОХОР: Пахом, видишь, оба ума решились. Поди сюда, пособи, давай разыжем.

(Пахом и Прохор стараются разнять графа и Щеглова. Вмешательство графини опять препятствует им)

ПРОХОР: Нельзя так, барыня. Вы в неистовстве. Извольте опомниться. Страм какой! А ты, Пахом, тоже хорош — тянуться к чужим шкатулкам. Ты думаешь, я не видел? Смотри у меня. Вот сцепились. Не разорвешь. Отведи руки, барыня.

(В это время граф освобождается, подбегает к дуэльному ящичку, выхватывает один из парных пистолетов и, удостоверившись, что он заряжен, наводит его на успевшего отбежать подальше Щеглова, который стоит прижавшись спиной к дверце шкафа. Граф долго целится, но от выдержанной перед этим борьбы, спешки и волнения у него начинается подергивание плеча со все увеличивающимися отклонениями, которое он, стиснув зубы силится остановить и переждать. Через ряды поредевшей дворни из глубины дома внутрь комнаты вбегает Луша и становится впереди Платона, чтобы прикрыть его своим телом)

ЛУША (упав на колени): Не трожьте Платона, ваше сиятельство! Хушь он головой перед вами провинился, смилуйтесь, пожалейте его. Я не смею сказать, чья вина, только не с него спрос. С меня взыщите, меня покарайте, коли надо.

(Раздается выстрел. Пуля попадает в гипсовую голову на шкафу и разбивает ее на большие куски и мелкие осколки, осыпав близ стоявших облаком белой пыли)

ГРАФ МАКС: А, чорт! Судорога проклятая руку свела.
Ствол кверху подкинуло.

ЛУША: Батюшки-светы, как больно! Ой пропала, крещенные, глаза обожгло. Ничего не вижу!

ПАХОМ: Мелом запорошило. Дай протру.

ЛУША: Ай, не трожьте. Хуже, папаня. Чисто ножом полоснули. Терпения-мочи моей нет. Ай, пропала, ничего не вижу!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ: А что дива, что не видишь. Темь какая! Надо бы огня.

(В кабинет вносят зажженную свечу в подсвечнике)

ПАХОМ: На двор надо выйтить, Лушка. Сполоснуть водой.

ГРАФ МАКС: Люди, люди! Аль я был вам таким каином. Неужели ни одна душа за меня не вступится?

ФРОЛ ДРЯГИН: Что прикажете, ваша светлость? Я вам всем нутром рад послужить.

ГРАФ МАКС: Слушай, дружок.

ФРОЛ ДРЯГИН: Слушаюсь, ваше сиятельство.

ГРАФ МАКС: Оседлай на конном кого порезвей.

ФРОЛ ДРЯГИН: Громобоя.

ГРАФ МАКС: Я думал, Орла. Но все равно. Как знаешь.

ФРОЛ ДРЯГИН: Громобой жеребец всех борзей будет.

ГРАФ МАКС: Оседлай Громобоя на конном. Гонцом к Стратону во весь дух скачи. К Стратону Силантьевичу. Стратон-Налетову. Скажи, без промедления требуется военная помощь в Пятибратское. Скажи — бунт в имении. Я службы твоей не забуду. Я в сельские старосты тебя поставлю у нас.

ФРОЛ ДРЯГИН: Покорно благодарим. Мигом поскачу. Домой пущусь. Солдат приведу.

ПАХОМ *(незаметно как очутившийся рядом)*: Горе на нас, барин! Дочка Лушка ослепла никак. Ты скажи Фрол, беда мол в имении. Ни пути, мол, ни ряду. Из сапог в лапти, скажи, повернулось дело! Перебаламутили людишки и в негодность произошли.

ФРОЛ ДРЯГИН *(сердито)*: Сам знаю, что скажу! Не учи.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ: Ай да Фрол! Ужели своих продашь, змея ты этакая?

(Гудение недовольства)

ФРОЛ *(вполголоса)*: Не про тебя, дурака, писано. Не все к делу говорится, ино и на ветер.

(Вместо того, чтобы бежать на конный двор исполнять приказание барина, он пробирается вглубь кабинета за передние ряды в гущу сборища к дуэльному ящичку и шкатулкам на большом дальнем столе, куда их положил Прохор Сурепьев и постепенно украдкой сгребает эти вещи кучей к краю столовой доски. Беспорядок в комнате увеличивается. В помещение проникают отдельные неизвестные в армяках и шапках, стараясь затеряться в толпе и не выделиться из нее. Кто-то отворяет то одно окно, то другое и они долго простаивают настежь. За деревьями парка появляются две-три огонька, все время движущиеся из стороны в сторону. Граница между домом и улицей стирается. Ее все время старается восстановить нечеловеческими усилиями и без успеха Прохор)

ГРАФ МАКС: Люди мои верные! Вы духом не соблазнитесь. Вы на то не глядите, что в доме содом сделался, кричали, спорили, стреляли.

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОЛОСА: Это уже вестимо. Дело барское. Это уж как водится. Без этого не бывает!

ГРАФ МАКС: Какой бесчинствовал. Какая ума решилась. Все это дело поправимое!

ПРОХОР: Это какой неслух окнами тут балуется? Чай не лето, топленые покои студить! Что стонешь, Лушенька? Аль не полегчало?

ЛУША: Ой, больно, не могу. Ничего не вижу, Прощенька!

ПРОХОР: А куда Платон запропастился? Не видать его. Ах, Платон, Платон, тебя по-божески наставляли, а ты слушать не хотел. Гляди, каких грехов наделал! А ведь это еще цветочки, то ли еще будет!

ЛУША: Ай не могу! Ай больно! Да что же это за божеское наказание! Неужели я слепая останусь?

ГРАФ МАКС: Неприятности разберут. Правда скажется. Никому даром не пройдут эти проделки! А что, отправился ли уже Фрол за Налетовым?

(Лай собаки за сценой)

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОЛОСА: Нельзя сюда, Хорт! Назад. Назад. Ускакал Фрол. Да нет, словно он тут в глазах мелькал. Вон он тешется. Никуда не уходил. Не ври, вышел он. А коли вышел, стало быть уехал. Куда, куда, Хорт. Нельзя сюда!

ГОЛОСА: Лешка Лешаков! Лешка Лешаков!

ЛУША: Ай не в моготу! Да что ж это такое! Неужели вправду это со мной? Куда без глаз я денусь, горемычная?

(Лай собаки за сценой)

ГОЛОСА: Лешка Лешаков!

ГРАФ МАКС: Лешаков, говорите? Где он? Держи его!

ГОЛОСА: Нетути никого. Только знают брешут. Померещилось!

ГРАФ МАКС: То-то померещилось. Нечего пустое молотить, языку волю давать. Придет команда и всех приструню. А вас, которые неповинные, и волоском не трону. Вам и во сне не снилось, какая вам участь готовится. Мое состояние рухнуло, пошатнулось. Годок-другой вместе потрудимся, укрепим его, подыдем. Вы — руками, оброком, барщиной, повинностями. Я — головой. И тогда я вашей помощи не забуду, всех до одного полной волею пожалую. Слыхали?

ЛУША: Пропала я! Ни зги не вижу! Тьма кругом крошечная.

ГОЛОСА: Спасибо, благодетель барин. Спасибо, милостивец, тебе на добром посуле.

(Крестьяне кланяются в пояс, становятся на колени, валяются в ноги и бьют земные поклоны)

ПРОХОР: Опять вы окнами туда-сюда вырзать, озорники! Я те дам, гадина, безобразничать. Да кто ты сам есть, откуда ты взялся, поганый, я тебя спра-

шиваю? Уходи добром, проваливай, пока я вотчинную полицию не кликнул, бродяга! А где барыня? Нет ее налицо. Не углядел я, когда она с глаз сгинула. А вдруг, чего доброго, она на пруд побежала аль к озеру. Того гляди, в воду кинется! Кто бы побежал, дозвался где она. Как горохом об стенку. Нипочем им. Никто не слушает. Ах, Платон, смердов сын, что ты натворил, напутал.

ПАХОМ СУРЕПЬЕВ: А где ты Платона устерег? Где он тебе видится? Был да сплыл твой Платон. Его и духу тут нет, и след простыл, надо быть давно в окно махнул!

ГРАФ МАКС (*как бы только сейчас очнувшись*): Платон? Кто сказал, Платон? Где он? Вяжи его, ругателя! Он всему зачинщик. А коли удрал, все за ним вдогонку. Доставить его, живого или мертвого!

ЛУША: Ой, лихо, лихо, не видать мне больше света божьего, и голубь мой отслужится, придет, что ему солдатка темная, невидущая.

ПРОХОР: Вот дела то, вот дела! А никому и горя нет. Я сбегая, ваше сиятельство, их светлость поищу поукаю. Душа у меня не на месте. Да на конюшне проверю — уехал ли Фрол.

ГРАФ МАКС: Беги, беги, голубчик. А коли Фрол замешкался, сам бери лошадь и скачи.

ПРОХОР: Слушаюсь, ваше сиятельство. Не добившись концов, не ворочусь.

(Уходит)

(Только сейчас в кабинет вбегают Глаша и Сидор и возвращается отлучившийся Мишка)

ГЛАША: Луша! Золотая! Мишка говорит, ты свету решилась. Ушам не поверила. Как это тебя угораздило?

ЛУША: Каменная голова проклятая. Пропала я, как есть погублена, милая подруженька. Хочешь добра мне, скорей смерти пожелай.

СИДОР: Вы не убивайтесь, Лукерья Пахомовна. Свечка на столе горит. Свечку видите?

ЛУША: Так пятно какое-то брезжится гнилушкой бо-
лотною.

СИДОР: Это луч надежды вам светит. Это значит лекарь
в городе вам глаза поправит.

ГЛАША: И будто Платон с барином на кулаки пошел,
ой страсти, неужели правда?

*(Из шкафа выскакивает ряженный Костыга, крив-
ляется, мечется в глубине кабинета по сторонам, ма-
шет руками)*

МИШКА: Ой страшно, дяденька Прохор!

ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА: Ай-ай-ай! Это что за чудище?

ГЛАША: Дивлюсь вам, Прохор Денисович, время ли
забавами?

ГОЛОСА: Это Домна такая была тут, сказывают ста-
рики. Домна убойница, как рыба сом усатая. Прохор
дворецкий в ейном халате.

СИДОР: Что с вами сделалось, Прохор Денисович. Не
узнали вас! До ваших ли шуток?

*(В это время переодетый Костыга перестает паяс-
ничать, берет со стола из ящика второй не разря-
женный пистолет, прячется за низ стола и целится
из-за его края, как из-за бруствера, в графа. Раз-
дается выстрел. Свеча тухнет)*

ГРАФ МАКС: Ах! Поддержите, братцы! Опереться. Па-
даю . . . Сейчас кончусь . . .

(Он падает на руки подбежавших слуг)

ГОЛОС: Это кто же его так?

ГРАФ МАКС: Это Платон душегуб хватил. Его черед
стрелять. Он бахвалился. Ох, не трожьте, сил моих
нет.

ДРУГОЙ ГОЛОС: Какой это Платон, ваше сиятельство!
Платон теперь небось на всю жизнь как в воду
канул.

1-ый ГОЛОС: Не видать было тут Платона. Не иначе он
из сада в окно стрелял.

3-ий ГОЛОС: Полно молоть — из сада. Это фокусник в
шугайчике пальнул. Я сам видел.

2-ой ГОЛОС: Тогда, стало быть, это Прохор. Прохор, сказывают, раньше в эту телогрейку наряжался.

1-ый ГОЛОС: Непохоже на Прохора. Не может быть, чтобы он. А чего легче. Запалить свечу, поймать ряженого и уличить, кто он есть, ломака!

3-ий ГОЛОС: Догони его, поймай. Ищи ветра в поле.

1-ый ГОЛОС: Только это не Прохор. Мало ли тут народу толкалось. Кто другой постарался.

(Вдалеке голоса: Лешка Лешаков! Лешка Лешаков! Лай собаки за сценой. За сценой же, мимо двери кабинета, не заходя в него, проносят куда-то дальше свечу)

ГРАФ МАКС: Тошно мне, братцы. В голове от боли мутится. Видно плечо у меня перебито левое.

СИДОР: Неужели это Прохор? Быть тому нельзя. Не верится! Крепитесь, ваше сиятельство. Сейчас мы вас вчетвером на руки и к барыне в спальню, я знаю, она потом спасибо скажет. И в город за костоправом. Не может быть, что-бы это Прохор был Денисович.

2-ой ГОЛОС: Коли в двери ключ торчит, надо комнату запереть. Вынесем их сиятельство, кабинет пустой останется. Все ушли, больше ни души.

3-ий ГОЛОС: Не наша печаль. Ключники найдутся.

ГЛАША: Еще нас тут две. Сейчас я Лушу в Сурепьевскую избу к мамане отведу. Пойдем, болезная.

ЛУША: И что же это, Глашенька, со мной будет?

(Уходят. Графа на руках выносят из комнаты. Немного спустя входят Фрол Дрягин и Пахом Сурепьев, последний с горящей свечей в подсвечнике)

ПАХОМ: Как небывальщина совершилась. Чудеса в решете.

ФРОЛ: Ты свечу цепче держи. Акурат выронишь, дом подпалишь. Только этого не доставало.

ПАХОМ: Надо доведаться, все ли взял Лешка с Костюгой. Не оставили ли чего на столе?

- ФРОЛ: Я говорю, за свечой гляди. Держи как люди.
Аль ты пьян, что рука у тебя пляшет.
- ПАХОМ: Не то, что Хорт. Стоит на пороге не дрогнет.
Истукан истуканом. Только в нас устави́л глаза.
Кабы твари бессловной язык был дан, многому пес
был видоком. Волосы стали бы дыбом, как стал бы
рассказывать.
- ФРОЛ: Пес песом. Ты об Хорте не беспокойся. Я с Хор-
том столкуюсь. Ты об том заботься не лаял бы сам.
А то я тебя, собака. Своих не узнаешь — смотри
у меня!
- ПАХОМ: Я видел, как ты Костыге знаки подавал.
- ФРОЛ: Я покажу тебе знаки. Я тебя как комара сомну.
Я из тебя дух вышибу. Ты у меня ввек не опом-
нишься, будь ты неладен! Только пикни.
- ПАХОМ: А где шкатулка?
- ФРОЛ: А вот и скажу сейчас, отлепอร์ตую. Они тама,
ваше благородие, куда я тебя завтрешний день пес-
сок и глину караулить под землю пошлю.
- ПАХОМ: Вот у тебя какие пошли речи с своим братом.
- ФРОЛ: Это еще сорока на воде хвостом писала, кто свой,
кто не свой.
- ПАХОМ: Стало ты не поедешь в Налетово за солдатами?
- ФРОЛ: Вот то-то и оно, что сейчас поскачу, дуралей.
Понятых нагоню, следователей, солдат. Тут завтра
такая музыка пойдет, ты только ахнешь. Я так дело
поверну — рот разинешь. Старых счетов не будем
сводить. Я их тебе прощу. Ты за меня держись, не
пожалеешь. Я тебя облагоденствую, век за меня не
отмолишься.
- ПАХОМ: Ладно. Не до того мне. У меня об Луше нутро
кровью обливается.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КАРТИНЫ

КАРТИНА ВТОРАЯ

*Через 15 лет. Лавочка перед сторожкой лесника.
Лето. Лес кругом.*

ПАХОМ СУРЕПЬЕВ: Пожалуйста. Мы об вас предуведомлены. Их сиятельство в скорости обещались объявиться. Тута дождитесь. По-нашему малость смыслите?

ЛЕЙТЕНАНТ РИМАРС: Немного.

ПАХОМ: Чего лучше. Размилейшее дело. Столкнемся. А вот и их светлость, легки на помине. Лесочком вышагивают.

(Входит Елена Артемьевна)

Наше нижайшее, ваше сиятельство. Осмелюсь доложить. Не нашего роду офицер военный в вашем распоряжении.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Спасибо, Пахом. Оставь нас. А сам куда-нибудь подальше ступай.

ПАХОМ: Слушаюсь, ваше сиятельство. А неровен час, в случае чего, я засвищу. Не угодить бы вам из сапог в лапти.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Хорошо, Пахом.

(Пахом уходит)

(Елена Артемьевна и лейтенант долго стоят обнявшись. Некоторое время они от волнения не могут говорить)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Сколько лет прошло с нашей встречи?

ЛЕЙТЕНАНТ: В последний раз мы виделись двенадцать лет тому назад!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: А по-моему четырнадцать.

ЛЕЙТЕНАНТ: Да, правда. Даже пятнадцать. Я ошибся.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ты — военный, переменил имя, мне писали!

ЛЕЙТЕНАНТ: Я военный инженер в чине лейтенанта. Меня зовут лейтенант Риммарс. Это значит — беглый, пришлый.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Как основательно ты овладел тамошним языком! И в какое короткое время!

ЛЕЙТЕНАНТ: Сядем на лавочку.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Как это сказать во-вашему?

ЛЕЙТЕНАНТ: Впр со год ох сит.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Боже, как длинно. Длинней скамейки.

(Смеется)

ЛЕЙТЕНАНТ: Король из наполеоновских генералов, но в двенадцатом стал на сторону России. Население немного численное. Людям рады. Служить в армии почетно, увлекательно.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Как по-шведски лес?

ЛЕЙТЕНАНТ: Ског.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: А лесник?

ЛЕЙТЕНАНТ: Скогвакторе Пахом Сурепьев.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ты его узнал?

ЛЕЙТЕНАНТ: Еще бы.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: А он тебя?

ЛЕЙТЕНАНТ: Тоже, разумеется. Но он думает, что узнавать не полагается, и охотно разыгрывает дурака.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Тебя удивляет, что я такие глупости спрашиваю? Ах, век бы так сидеть рядом на лавочке и ерундой перекидываться. Как лес по-шведски и прочая чушь. И дакать и некать. Такое блаженство, такая простая потребность, как на солнышке греться и запахом молодой травы дышать.

ЛЕЙТЕНАНТ: Ты в браке с нынешним молодым графом, я слышал? У вас есть дети! Две девочки и мальчик?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Да. Тогда я тебе по порядку расскажу. Тебе наверное хочется о Максе покойнике узнать. Его не рана огнестрельная свела в могилу. После ночного переполоха он оправился и прожил еще два года.

ЛЕЙТЕНАНТ: Отчего он умер?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: От сильной простуды. Он очень скоро простил меня и уговорил не идти в монастырь. Дела в имении стали улучшаться еще при его жизни. Он как-то одумался перед смертью, остепенился. Но особенно все переменялось при наследнике, нынешнем владельце Пятибратского, молодом графе Иринее Норовеве.

ЛЕЙТЕНАНТ: Я Ириней Родионовича еще мальчиком помню. Как видно он оправдал ожидания. Все хвалили его мягкое сердце.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Он прекрасный хозяин. Много новых служб в усадьбе. Новые срубы в деревнях. Крестьянам оказывают пособие.

ЛЕЙТЕНАНТ: У вас новый театр, говорят?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: На 300 зрителей. По всей России славится.

ЛЕЙТЕНАНТ: И до чужбины слухи долетают.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: И по особенной причине к сердцу принимаю все театральные дела. Я потом скажу.

ЛЕЙТЕНАНТ: Большинство крестьян на оброке.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ириней уверен, что не за горами время, когда во всей России крепостных освободят по указу государя. Будто есть уже тайный комитет.

ЛЕЙТЕНАНТ: Я за границей такие слухи.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ну так вот. Ты меня о замужестве спрашивал. Он долго добивался моей руки. Сначала я ему отказывала. Потом согласилась. Он — человек хороший. Любит меня. У нас дети.

ЛЕЙТЕНАНТ: А наш то?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Он ведь Агафоновым растет. Будто Лушин. Я не могла иначе.

ЛЕЙТЕНАНТ: Я знаю.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Это ведь было еще при Максе. Он знал, что от него детей быть не может. И тогда еще не забыли о ночной суматохе. Я еще не получила прощения от Макса. Жила одиноко в глухом нашем городе и взяла к себе Лушу. Луше сразу после ослепления дали вольную. Она уже и тогда была с животом, помнишь? А через месяц я стала ее догонять. Между нами был месяц или два разницы. Ну, оступилась Луша в сенях сослепу и выкинула мертвого. А вскоре я родила. Луша согласилась на себя его взять. Матерью ему значит. Хотя чуть ли не обе мы его кормили, ласковое наше теля. Вот и вообрази, какого выкормили. Тихо мы жили, особенно. Оно гладко нам и сошло. Никто ничего не

знает. Отец подставной, Агафонов Трофим ни о чем не догадывается. Да и врозь они с Лушей теперь, когда из солдат приезжает он домой на побывку.

ЛЕЙТЕНАНТ: Ну как она, Луша, сама то?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Луша то? С тех пор при мне неотлучно. Ближе сестры родной.

ЛЕЙТЕНАНТ: Нет, а глаза-то, глаза-то? Видит что-нибудь?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Так, муть какую-то светлую. Доктор один надежду подавал. Можно, говорит, вылечить. Берется.

ЛЕЙТЕНАНТ: Ну так что же? К чему проволочка?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Не хочет. Боится, не было бы хуже. Но конечно, когда-нибудь попытаемся.

ЛЕЙТЕНАНТ: А мальчик?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Наш?

ЛЕЙТЕНАНТ: Да. Как растет? Каков собой?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Точь в точь как я предсказала. Ты небось не помнишь. Я тогда сказала тебе в ту ночь сумбурную, что между нами еще нет греха, а вот когда я тебе рожу сорванца мальчишку, миру на удивление, тогда грех будет, и тут поправились, что и тогда не будет греха.

ЛЕЙТЕНАНТ: Покажи, порадуй когда-нибудь.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Да ты его, если хочешь, раньше моего увидишь. В Париже он вместе с Пахомовой внучкой Степанидой Сурепьевой и несколькими другими крестьянскими мальчиками и девочками в обучении.

ЛЕЙТЕНАНТ: Неужели до сих пор это применяется? Для каких-нибудь художеств отобраны?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: В труппу театральную.

ЛЕЙТЕНАНТ: А все крепостные?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Так ведь это только одно звание. По положению они точь в точь, что свои свободные.

ЛЕЙТЕНАНТ: И твой сын?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Но ведь он Агафоновским считается.

ЛЕЙТЕНАНТ: И ты это терпишь?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Он на моих глазах растет. Я ни волоском не дам его обидеть. А что он крепостной, так это пустой звук, одна видимость.

ЛЕЙТЕНАНТ: А самолюбие? Остальные твои дети ведь графчиками растут?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Но ведь он не знает, что он брат им. Боже избави!

ЛЕЙТЕНАНТ: Отчего граф не даст этим откомандированным и другим артистам отпускной?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Тогда все врозь разлетятся. Дело распадется. А театр — его главная страсть. Граф на воспитание молодых актеров ничего не жалеет. С ними заняты лучшие силы Франции, Брессан, Анна Марс, Дюпон. А наш-то среди них выделяется! Ум, огонь, отвага, талант! Он Димитрием крещен, а товарищи дали ему прозвище — Удача. Так оно за ним и держится.

ЛЕЙТЕНАНТ: Что Прохор? Жив ли?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ах, это незаживающая моя рана.

ЛЕЙТЕНАНТ: Что так? Помер что ли? Говорили — сам себе голова, свободный хозяин, разбогател, пошел в гору?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Так-то так. А что ему это стоило? Драной шкурой купил независимость, спиной, боками.

ЛЕЙТЕНАНТ: Я знаю. Пострадал он. На каторге побывал.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: На него все свалили. Будто и в графа он стрелял и совершил ограбление. Наряд шутовский один тут роковую службу сослужил. Угроздило Прохора маску с балаханом первому как-то раньше надеть. Когда потом на другом увидели это скоромощество, закричали все — Прохор, Прохор.

ЛЕЙТЕНАНТ: Его одного во всем обвинили невинно?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: В том-то и рана моя. Знала ведь я, что он не при чем, и не могла заступиться. Допустила его истязания, смолчала, стерпела. Не простится мне это на том свете.

ЛЕЙТЕНАНТ: Его к плетям несчетным приговорили?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: К двум тысячам. Это взамен смертного приговора первоначального.

ЛЕЙТЕНАНТ: Удивительно, как он выжил. Как на смерть его не заколотили.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Четыре раза эти две тысячи рассрочивали. В промежутках отлеживался в лазарете. Но ни разу полного числа не отбывал. После экзекуций приговорили к вечной каторге, сослали в Сибирь. А когда после смерти Макса во владение вступил новый хозяин, мы сразу стали ходатайствовать о выяснении его невинности.

ЛЕЙТЕНАНТ: Дело пересмотрели?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Да, но после каких хлопот! И как долго это тянулось!

ЛЕЙТЕНАНТ: Бумажная волокита?

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Да, померяйся с нашими писарями. А тут еще новое горе. Ты прежнего станового пристава нашего, Стратона, помнишь?

ЛЕЙТЕНАНТ: Как забыть их дородство. Такое ничтожество свиное, глаза щелкой.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Ну вот. Теперь он у нас исправником, а там и губернатором скоро будет. Он из царских денщиков, неотесанный бурбон, полуграмотный, среди уродливых подлиз не шутя вообразивший, будто он в самом деле неотразимейший остряк и милашка. Как всякий болван невежда он естественно не возлюбил весь род Норовцевых за их знатность и образованность, или, как он говорит, за их барские причуды. Он не дает прохода женщинам и, разумеется, не встречает с их стороны отказа. К несчастью он вздумал приволокнуться за мной и был как громом поражен, когда я отвергла его приставания. Но это все пустяки по сравнению с главным. Предвестия освобождения крестьян действительно носятся в воздухе. Граф Иринея — душа этих приготовлений, изучает вопрос, распространяет сужные сведения, пишет. Стратон Налетов в прошлом сам из крестьян, а теперь новоиспеченный помещик — убежденный крепостник и противник

будущих освободительных мероприятий. Это он из ненависти к нам кидал, что называется, нам поленья под колени в деле Прохора. Но вот лет десять тому назад поймали разбойника Костыгу. Его показания перед смертью решили дело. Неповинность Прохора была установлена. Его вернули. Ириной дал ему отпускную, снабдил деньгами. Прохор стал служить по откупам, по винной части. Ты бы его повидал, если соблюдение тайное тебе позволяет. Он тут недалеко совсем. Постоялый двор, лошадей держит на большой дороге. Дельный, бережливый мужик. Второе лицо после графа, пожалуй, в окрестностях. Мы его обществом не гнушаемся. Куда Стратону в ботфортах чванливому до его силы и влияния.

(Свист за сценой)

ЛЕЙТЕНАНТ: Пахом свистит.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Да, уходи скорей!

ЛЕЙТЕНАНТ: Я еще с неделю тут проколачиваюсь. Прохора навещу. Хорошо бы еще раз повидаться до моего окончательного отъезда.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Непременно. Я извещу тебя. Способ найдется.

(Снова свист, ближе и сильнее)

Уходи скорей. Не надо прощаться! Беги!

(Лейтенант Риммарс быстро скрывается)

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА *(вслед, сама с собой)*: Прощай, добрый путь, сокол мой ясный! Не проговорилась тебе, как тужу без тебя. Никогда ты этого больше от меня не услышишь. Зачем мне томить тебя зря. А и молодец же ты, ненаглядный мой. Это тоска моя тебя так над другими подняла, это думами и молитвами ты так высоко подхвачен, гордость моя, сердце мое золотое! А я и мужу честно в глаза гляжу, не обманываю, вижу светлый его нрав, благородный, его славе не изменница. А ты скажешь, отчего же так нескладно все? А ты найди мне жизнь складную. Не зря говорится: не так живи, как хочется, а

как Бог велит. Вот и благодарю тебя, Господи, великая моя заступа, покров мой недосягаемый, что велишь мне так трудно и так путано; так неисповедимо, что велишь сердцу моему исходить так сладко кровью. А это только Стратоны дураки с сальными глазами заплывшими воображают, будто жить дано в свое удовольствие, и сапогами скрипят, командуют, поучают, наводят порядок. А жизнь это тонкая боль просветляющая, тихий дар светлой власти безгласной, долгой, долговечной власти, какая им и не снилась.

(Входит Пахом)

ПАХОМ: Вы бы тоже в гущу леса скрылись, ваше сиятельство, не приведи Бог — не потрафить бы нам из сапог в лапти.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: А что у тебя за беда там? Ты чего свистел?

ПАХОМ: Их высокопревосходительство Стратон — бор без дороги лес ломит. Только треск стоит.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВНА: Мне все равно идти пора. Я пойду. Только ты не думай, что я от него. Не боюсь я твоего страшилища.

ПАХОМ: А кто же это думает, ваше сиятельство! Просто час такой вышел домой с отгулки. Ваша графская воля.

(Елена Артемьевна уходит. Немного спустя входит Стратон, Стратон Налетов)

СТРАТОН НАЛЕТОВ: Это кто от тебя орешником вниз улепетывал? Я окликнул, ничего знать не желает скотина, и наутек под обрыв. Не бегом же мне вдогонку.

ПАХОМ: Вестимо не к лицу бегом. Запыхались бы. Это Пятибратский человек старобеглый Щеглов в наших местах прохлаждался, лес наведывал.

СТРАТОН НАЛЕТОВ: Что же ты ему дурак убитый, дал сквернавцу, не схватил, не связал?

ПАХОМ: А как его руками взять, ваше превосходительство, когда они чужих краев морские полковники?

СТРАТОН НАЛЕТОВ: В самом деле затруднительно. Со здешней барынькой небось развлекались?

ПАХОМ: Бог с вами, ваше превосходительство! Можно ли на воле разболокаться. Только любезничали самопристойнеше.

СТРАТОН НАЛЕТОВ: Превосходно-с, превосходно-с. Намотаем на ус. Намотаем.

КОНЕЦ ПРОЛОГА

СРЕДНИЕ ЧАСТИ ДРАМЫ

Тысяча восемьсот шестидесятый год.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Внутренность избы. Запустение, темь, неустроенность. Зимняя ночь в исходе. На улице неистовый буран.

ДЕДУШКА ПАХОМ (*На печи. Вздыхивает, вскрикивает, стонет*): Что же это, прости Господи, никак конец? Неужли правда смерть пришла! Кончаюсь. Кончаюсь.

БАБУШКА МАРФА (*Внизу на лавке, проснувшись*): Кончается, батюшка. Истинный Господь, кончается!

ПАХОМ: Чего кончается? Что ж ты радуешься, дура непутевая?

МАРФА: Ночь, батюшка, говорю, кончается. Скоро рассвет.

ПАХОМ: Ахты, клуша неповоротливая — рассвет. Я вот, Пахом от твой кончаюсь. Вот тебе и рассвет. Час мой, мать, у порога. За священником бы.

МАРФА: Опомнись, батюшка! Какой такой час? Христос с тобой. Спросонья мало что привидится. А на дворе, слышь, что деется. Не проходит буран.

ПАХОМ: За отцом бы, говорю, Онуфрием. Открыться б мне ему. Да что ты смотришь, пень стоеросовый, рот разинула! Аль я шучу. С тобой дождешься дура, на тот свет уйдешь без напутствия.

МАРФА: Очурайся, батюшка. Это только так нашло, попритчилось. Не бывает, чтобы так не думаю не гадаю. Вечор сбрую чинил, ворочал мешки пудовые и вдруг, не дай не вынести, собороваться и помирать.

ПАХОМ: Бывало часом занемогал, обходился. А ныне чую, шабаш, шалишь. Ровно на мне доска чугунная.

(Марфа оставляет Пахома, хлопчет в дружок)

углах избы, колет лучину, растапливает печь, возвращается)

МАРФА: Ты и то рассуди, ни проходу, ни проезду на улице. Дом у озера, под окнами круча. Средь зимы надо бы морозы, вишь что деется. Развело как на Егория. Лед от берега в сторону ушел. Полыньи. Ты говоришь, валяй за попом. А нешто я утка серая водой поплыву. А кругом в обход я не доползу до ночи будущей. Да и то в толк возьми, метет — свету божьего не видно, третьи сутки. Не пойдет отец Онуфрий с церковного двора в такой содом.

(Опять отлучается, суетится некоторое время и возвращается)

А вот что скажу тебе, Пахомушка. Ты поднялся бы. Встать оно временем сподручнее. На ногах другой раз скорей обможешься. Нажилься, обопрись на меня, я пособлю. Что же не отвечаешь ты, Пахомушка. Отзовись, а то страх берет! Ах я, ворона старая! Я думала, бок отлежал, разотру, пройдет, а он неживой лежит. Аль впрямь отошел ты, батюшка? Пахомушка! Господи, беда какая! Так и есть, преставился.

(Начинает причитать нараспев, как по покойнику)

На кого ты нас покинул, кому отдашь. Отец наш кормилец, заступник наш. Послал на муку, опустил рамена, верная моя зарука, каменная моя стена. Аль тебе я не угодила, али так не мила, что тебя упустила, не углядела, не могла.

ПАХОМ *(очнувшись)*: Забылся я. Рукой двинул, дух захватило. Терпенья моего нету, так больно. Спасибо опаматовался. Так бы и помер, ничего не успел сказать. Погоди выть. После наплачешься. Не замай, слушай. Под амбаром в фундаменте вынь от угла пятый кирпич. Он у меня легонько меченый, признаешь. Обери кругом соседние, подкатывай. По ночам норови, не видали чтоб, утрами назад закладывай. Опростаешь проему, все сама поймешь!

Это я купил вас выкупить. Теперь воля вам задаром будет. Отрежут надел. Земли к нему прикупи. Купи лошадку лишнюю. Ох, опять не могу! Занимает дух. Мертвею я. Руки сами отымаются.

(Опять беспамятеет. Марфа снова плачет навзрыд)

МАРФА: Прибери, Господи, и меня, рабу, как теперь моя надежда и держава в гробу.

ПАХОМ *(снова пришедши в сознание)*: Прощаться надо, Кузьминишна. Пора. А то поздно будет. Отпусти мне, Христа ради, мои попреки, побои, не поминай бабьих слез и обид.

МАРФА: Что ты, что ты, батюшка! Какая я против тебя праведница, у меня прощенья просить? Ничем ты мне не грешен, неповинен. Нет у меня сердцов на тебя.

ПАХОМ: Ну и спасибо тебе, милая душа, что забыла мне кулаки да вожжи, злые мои слова. Все душе легче будет. А прочих лжей и вин на мне, воровства, нечестья, не приведи Бог! На то и отца Онуфрия надо бы мне. Гору бы окаяньств я ему открыл, покаялся. А тебе язык не поворачивается. Через Фрола Дрягина я душу свою погубил. Фрол Дрягин, нечистая сила, меня по рукам, по ногам страшной тайной опилатил.

МАРФА: Полно, батюшка! Весь мир во зле. Кто без пятна родимого? Один Бог без греха.

ПАХОМ: Через меня Луше такой крест — век в крошечных потемках.

МАРФА: Что ты, Пахомушка! Куда заносишься? Какие мы божьей управе судьи?

ПАХОМ: Как это того пса была кличка? Меня забудки стали брать.

МАРФА: Какого такого пса, батюшка, Господь с тобой? И то, правда, у тебя движение мозгов начинается, в уме мешаешься?

ПАХОМ: Лешку Лешакова свои залобанили — много знал. Костыга, бают, в тюрьме дни кончил. А что они перед Фролом Каином? Сущие мальчишки.

МАРФА: Знать тебе маленько полегчало, Пахомушка, что ты так ожил, разговорился.

ПАХОМ: Тады это градом повалило, проводы рекрутов. Новобранцы из присутствия самовольно по домам разбрелись. На барина упокойника покушение. Покража. Шатанье. Меня тогда Фрол, зелье бесовское, молчать подустил. В этот самый розыск Сумцовский. Плач бе и рыдание и скрежет зубовой. Розги, шомпола. Военный постой. Через нашу утайку раба безвинного без малого на тот свет прогнали сквозь строй.

МАРФА: Ты никак опять про Медведева, Прохора Денисовича? Испытание великое, что и говорить. Смерти подвергался. Подвиг муки положил в кандалах сибирских. Зато потом как ему пофартунило? Какой талан счастье купил вытерпленным. Вольный казак кабачник, извоз держит царской почте на зависть, в уезде сила, второй человек.

ПАХОМ: Хортом звали собаку. Вспомнил. Вспомнил. Страшная, черная была собака. Бывало станет на задние лапы, передние тебе на грудь, тогда стой, глазом не моргни, руки по швам, а то беда. Геден этот, механик, нонешнего учителя домашнего отец. Геден этот сплоховал как-то раз, побежал. Ну этот за ним, догнал и загрыз. Чтой-то словно малость мне лучше, твоя правда! Подымусь на локоть, передвинусь на другой бок.

(Делает неловкое движение, вскрикивает от боли, валится навзничь и забывается. По улице мимо оконца проходят с фонарем, ныряющим наверх и вниз, по ухабам снежной дороги. Стук в дверь с повторениями)

МАРФА: Аль Господь Пахомушкину молитву услышал, отца Онуфрия послал. Кому в такую рань?

(Стук возобновляется учащенное, дверь рвут на себя, отворяют. Входят сельский староста Фрол Дрягин и десятский Шохин)

ФРОЛ: Затворились, что твои молодожены. Не достучаться. Это наша земская полиция, Шохин. Новый десятский. Ему тут мы все новые, чужие. Вот вожу по избам, показываю. Вот тебе будет Сурепьевы,

служба. Ну, туши фонарь. У них лучина горит. День на дворе занимается. В леестре работников отметь Сурепьевых крестиками. Оба, мол, в находимости. Ну, кумовья, тулупцы в рукава, лопаты в руки и айда с остальными снег расчищать. Дорожная повинность. Айда пошли, Шохин дальше. Ты что воешь, кума?

(Марфа плачет навзрыд, слова не выговорит. Ничего не разобрать)

ФРОЛ: Ну, уймись. Никшни. И не стыдно тебе из-за такого дела плевого быть. Коли я каждого уважу, как тогда править зимний путь? Не воду на тебе возить. Дорогу разгрести — великий ли труд?

МАРФА: *(мычит что-то сквозь рыдания ничего не понять)*.

ФРОЛ: Да ты не плачь. Скоро, говорят, будете вольные. Как не порадеть в последний раз господам? Ты что в толк возьми. Маслена. О посту представлений во дворце на киятрах не давать. Последние вечера перед закрытием. Ты и то сообрази, гостей звано на игрища, гостей. На почтовой станции в Лесном, сказывают, саней, колясок, карет растянулось на версту, уму помрачение. И ни с места. Кони вязнут в снегу. А которые приглашенные даже из чужих краев. Да кому я это толкую. Не твоя ли Стешка внучка из первых актерка? Ну ладно. Так и быть. Христос с тобой. Сиди дома. Не ходи. Изволь. Только не вой. Сыми ее со справы, кавалер, похерь из росписи. Ты мне только Пахома подай. Где он у тебя хоронится, кум любезный! Что-то я его не вижу.

МАРФА *(сквозь слезы и рыдания)*: Помирает, болезный, помирает.

ФРОЛ: Стара песня. Все вы в будни лежебочничаете, помираете, а в праздники выходите из гроба.

МАРФА: Ты еще тут богохульничай, идол окаянный. Только нам заботы от барщины смертным часом прикрываться, отлынивать. Видно не на балмошь Пахомушка тебя поминал проклятого, от тебя, что от чумы, остерегал.

ФРОЛ: От меня остерегал? Как же это он от меня остерегал? Любопытно.

МАРФА: Беги, говорит, Марфа, за священником. Надо мне, говорит, перед смертью батюшке насчет Фрола сатаны открыться.

ФРОЛ: Скажи, покалуйста, какие дела?

МАРФА: В Сумцовский, говорит, розыск, в это самое выездное следствие судебное...

ФРОЛ (*перебивая, живо и строго*): погоди. Не сыпь, что из решета. Постой, говорю. Мне десятнику словцо сказать. (*Шохину*): Чем тебе тут без дела торчать, земская полиция, ступай дальше с листом в обход. Подымай по бумаге деревню. Я с бабой дело улажу, тебя догоню.

ШОХИН: Мужика ее тоже выкинуть из росписи? Пахома-то?

ФРОЛ: Видать, не миновать стать.

(*Шохин уходит*)

ФРОЛ: Ну теперь говори, валяй. Да смотри не завирайся. Да, так это как он стало быть от меня остерегал?

МАРФА: В Сумцовский, говорит, розыск...

ФРОЛ: Какой-такой розыск? Заладила дура. Не бывало такого. В первый раз слышу. Даже слова такого в заводе не слыхал. Ну, будет. Накаркалась. Надоела. Я лучше вот что тебе скажу. Где он твой болящий? Покажь мне его. Не съем я твоего сокровища. Коли он правда на отходе, мне надоть у него прощенье попросить, в землю ему поклониться, облобызать. А коли не все потеряно, того лучше. Може за плечи возьму, поправлю. Не благодарствуешься тогда.

ПАХОМ (*пришедши в себя*): Словно опять я обмер. Не знаю сколько время без памяти пролежал. Ай, кто с тобой гутарит, мать? Не батюшка ли в избу на мое счастье вошел?

МАРФА: Фрола ты себе на шею сам накликал.

ФРОЛ: Это я-от, Пахом, Дрягин Фрол, старый друг твой, верный.

ПАХОМ: Сгинь, рассыпья, одурь сатанинская. Не трожь меня. Дай мне помереть спокойно.

ФРОЛ: Полно, полно, что ты мелешь Пахом? Аль не узнал? Лучше давай я к тебе подойду, на руки подхвачу легонько, на ноги поставлю.

(Подымается на уровень печи, что-то возится там)

ПАХОМ: Ой, оставь. Что ты, зверь, делаешь? Ой, больно.

ФРОЛ *(сверху)*: Нет, видно права, не поднять. Ослаб. Хрипит. Кулем назад валится.

(Спустившись, через мгновение)

Приказал долго жить. Царствие ему небесное. *(Крестится)*

МАРФА *(расплакавшись навзрыд, сквозь слезы)*: А ты часом не помог, душегуб, демон!

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КАРТИНЫ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Утро на почтовой станции в Лесном на другой день после смерти Пахома.

Зал ожидания для проезжающих. Он расположен перед зрителем по диагонали, с левого угла авансцены дальше вглубь, и разделен поперечною открытою аркой на колонках. В глубине зала за аркой — сени, дверная коробка входа и три окна на улицу. Спереди слева, положив на стол памятную книжку и что-то занося в нее, сидит Александр Дюма старший, путешествующий французский писатель. К нему подходит Саша Ветхопещерников, предварительно кинув из глубины зала несколько пытливых взглядов по сторонам, в поисках Дюма.

САША: Господин Дюма, если не ошибаюсь?

ДЮМА: Я, это я. В свою очередь осмелюсь спросить, с кем я имею честь разговаривать.

САША: Я воспитатель детей в доме Норовцевых.

ДЮМА: Тем приятнее познакомиться. Садитесь пожалуйста. Я догадываюсь, с какой вы новостью. Празднества в имении наверное отменяются.

САША: Напротив. Граф просил вас успокоить на этот счет. Вас ждут с нетерпением. Спектакли состоятся, как только восстановят сообщение.

ДЮМА: Ходят слухи, что мы двинемся дальше сегодня.

САША: Не могу разделить вашей веры. Дороги в дурном состоянии.

ДЮМА: То же самое говорит здешний станционный смотритель. Кстати сказать, он мне чем-то поразительно знаком, хотя я в первый раз в России, если не считать короткого пребывания на французских позициях в крымскую кампанию. Тогда я сотрудничал в нескольких парижских газетах и посылал телеграфные сообщения с театра военных действий. Так вот, этому смотрителю, который мне кого-то так страшно напоминает, предлагали двойные прогонные, лишь бы он повез нас скорее дальше. Однако он наотрез отказывается. Он говорит — я государственный чиновник, не вправе ломать почтовые сани и губить казенных лошадей. Но есть будо-бы здесь по соседству, частное лицо, содержатель постоялого двора на большой дороге, который вызвался помочь нашему горю.

САША: Ну, тогда счастлив ваш Бог. Это Прохор Медведев. Он слов на ветер не бросает.

ДЮМА: Он предлагает нам перейти к нему отсюда на постой и берется доставить нас на место лучше и скорее.

САША: Он и сделает, как подрядился. Ямщики у него отчаянные лихие головушки, лошади — бешеные — вихрь, огонь. Кроме того, когда на перегоне узнают, что в дело вмешался Медведев, расчистка дороги пойдет в несколько раз скорее.

Этого человека забили кнутом чуть не до последнего издыхания, а потом в цепях сослали в Сибирь, откуда воротили через десять лет по выяснении судебной ошибки. Он нечеловеческими муками купил свою нынешнюю независимость, влияние, деловой опыт.

ДЮМА: Я догадываюсь, кто он. Мне в Москве и Петербурге много рассказывали о Пятибратском и о так называемом Сумцовском деле, столь нашумевшем. Этот человек наверное тот знаменитый графский камердинер, который был любовником графини и стрелял в ее мужа?

САША: Нет, вот именно не он. Тот, о ком вы говорите, бежал за границу и, как передают, состоит на шведской военной службе. Во всех преступлениях, совершенных в упомянутую ночь, обвинили того, кто один только из всех и старался их предупредить или остановить.

ДЮМА: Застану ли я графиню Норовцеву в имении, или она сейчас в отъезде? Я так мечтаю с ней познакомиться. По общим расчетам, ей должно быть лет под пятьдесят, но по рассказам, на вид она гораздо моложе.

САША: Графиня умерла в прошлом году.

ДЮМА: Я этого совсем не знал. Что ее так рано подкосило? Была ли она счастлива во втором браке?

САША: В чрезвычайности. И даже слишком. Я думаю, чрезмерная преданность нуждам и выгодам Пятибратского, печали которого оставляли ее совершенно равнодушной в первом замужестве, и которые теперь она стала принимать чрезчур близко к сердцу, и свели ее преждевременно в могилу. Она не могла перенести зависти и неприязни, которыми по преемственности окружен графский род Норовцевых со стороны разных выскочек и среди некоторых соседей.

ДЮМА: Как страшно. Никогда бы не думал. Простолудины на станции, знать в Москве и Петербурге, сколько я мог судить, отзывались о семье Норовцевых и о порядках в имении с сочувствием и уважением. Флигель — адъютант его величества генерал Облепихин и верховный покровитель ваших вольнодумцев и свободолюбивцев князь Олег Александрович — корпусные товарищи графа и ожидают здесь на станции проездов на спектакли в Пятибратское. В каких кругах или человеческих разрядах усматриваете вы недоброжелателей Норовцевского дома?

САША: Россией управляют не цари, а псари, полицейские урядники, дослужившиеся до исправников унтера, чиновника четырнадцатого класса. Норовцевых не любят невежественные провинциальные

сатрапы. Солдафон Стратон Налетов преследовал покойную Елену Артемьевну знаками своего внимания. Пренебрежительный отпор, который он получил от нее и от которого страдала его амбиция, он вымещал на целых окрестных волостях. Это тоже не могло не сократить ее дней. Норовцевых также не любят праздные говоруны, бывлые кумиры своих троюродных кузин и тетушек, всегда где-нибудь проживающие в гостях по соседним усадьбам. Эти неудавшиеся гении продолжают пускать пыль в глаза в обществе и ненавидят Норовцевых за их проницательность, за то, что они поддаются так легко ошеломлению.

ДЮМА: Расскажите подробнее, что такое Сумцовское дело.

САША: Я все время ждал от вас этого вопроса.

ДЮМА: Это естественно. Оно так нашумело.

САША: Если вы любитель всяких тайн, ужасов и загадочных происшествий, то прошлое Пятибратского славно преступлениями, перед которыми обстоятельства Сумцовского дела бледнеют. Как раз события ночи, получившие название Сумцовского дела, легли рубежом между этими преданиями и тем новым, которое сейчас перед нами. В ту ночь было заложено его основание. Это новое выращивают преобладающие обитатели Пятибратского, между прочим графское семейство во всем его составе, но особенно заметно оно в трех главных фигурах. Об одном из этих лиц была уже речь, это содержатель кабака Прохор. Что скажешь, господин офицер?

(К Саше подходит, хромая на деревяшке, станционный смотритель Селиверст Кубынько)

КУБЫНЬКО: Волнуюсь, Сашка. С ближнего перегона вестовой. Их высочество великий князь изволили отбыть в нашу сторону. Скоро будут. Я их по Севастополю помню.

ДЮМА: Правильно ли я уловил или мне ошибочно послужилось. Не назвал ли этот человек Севастополя?

САША: Назвал. Вы не ошиблись.

КУБЫНЬКО: Где я этого путешественника мог видеть? Верно не в первый раз проезжает. Разве их каждого упомнишь? Примелькались. Однако мне пора. Недосуг. И к тому же их высочество.

(Уходит)

САША: Мы говорили о людях, определяющее нынешнее Пятибратское. Первый такой человек, я сказал — хозяин постоянного двора Прохор Медведев. Второе лицо, это актер усадебского театра Агафенов, превосходный актер, Митяй-Удача, как его зовут товарищи. Вы его увидите на усадебных подмостках.

ДЮМА: Я этого нетерпеливо жду, потому, что не только много о нем слышал. Я его встречал в Париже у своего друга, актера Брессана. Он находился у него в обучении и был его любимцем.

САША: Третий характер, хотя и отсутствует и вне достижения, относится однако всецело к истории теперешнего имения. Это бежавший крепостной Норовцевых, с которым, как утверждают одни и как другие отрицают, был роман у покойной графини и который, под измененным именем Эверста Риммарс служит офицером в Швеции.

ДЮМА: Эверст Риммерс! Что вы говорите! Он был в Крыму одним из представителей нейтральной Швеции при французском штабе. Я с ним встречался очень близко и часто. Я знал, что он русский, но не представлял себе, как захватывающе необычайна его судьба. Он освободил многих ваших из плена, помещал раненых в наши лазареты и спас многим жизнь разными другими способами.

САША: У нас это знают. Смотритель здешний почтовой станции отставной штабс-капитан Кубынько — один из его спасенных.

ДЮМА: Теперь я все понял. Вот от чего он кажется мне таким знакомым. Я конечно видел его раньше. Я обходил вместе с Эверстом Риммарс наши лазареты. В одном из них лежал этот русский офицер после сделанной ему ампутации. Ему отняли ногу. Штабс-капитан и Эверст долго разговаривали друг с другом

и рады были встрече, оказавшись земляками. Но теперь о другом. Я давно удивляюсь, как хорошо вы говорите по-французски.

САША: Это у нас не редкость между людьми, получившими хорошее образование или выросшими в богатых усадьбах среди дворянской молодежи.

(Из задней половины зала переходят в переднюю, беседуя, дальний родственник графа, молодой Ксенофонт Норовцев со своим случайным соседом по дорожной карете, корнетом Колей Черноусовым)

САША: Этот болтун и иерихонская труба, родня графа, сейчас к вам приближается и помешает нашей беседе. Сделайте вид будто вы заносите заметки в записную книжку и очень заняты, а я притворно углублюсь в чтение какой-нибудь книжки, благо на столе у вас несколько интересных новых изданий.

ЧЕРНОУСОВ: Благодарствую, граф. Однако чем я заслужил так полно ваше доверие? Нельзя же так с бухты-барахты положиться на первого встречного.

КСЕНОФОНТ: Я привязался к вам с первого взгляда, корнет.

ЧЕРНОУСОВ: Умоляю вас не называть меня корнетом. Это, некоторым образом, берedit мои свежие раны.

КСЕНОФОНТ: Я полюбил вас с первого взгляда, корнет. Мы поменяемся с вами крестами. Я запомнил, когда вы выпущены. Простите пожалуйста, я забыл, в какой полк вас записали?

ЧЕРНОУСОВ: В лейб-гвардии Гроненский гусарский. Но я просил вас не заговаривать об этих материях. Ваши замечания вызывают в мыслях у меня обстоятельства, о которых я не хотел бы вспоминать.

КСЕНОФОНТ: Мы будем названными братьями! Я позабочусь о вашей судьбе, я ее устрою. Как полагается истинным побратимам, мы будем служить одному делу. Мой троюродный дядя, известный граф Ириней Норовцев — председатель этого самого губернского, кажется комитета по этим самым, ну знаете, по этим, ну как их, черт побери, по этим крестьянским делам!

ЧЕРНОУСОВ: По улучшению быта хлебопашцев.

КСЕНОФОНТ: По улучшению быта хлебопашцев. Название комитета в конце концов не имеет никакого значения. Речь идет в нем об освобождении крестьян от крепостного ига.

ЧЕРНОУСОВ: Совершенно верно.

КСЕНОФОНТ: Знакомы ли вам сочинения господина Фурье, корнет?

ЧЕРНОУСОВ: Мое имя Николай. Зовите меня, граф, пожалуйста, Колей!

КСЕНОФОНТ: Например, организация работы возмездий. Это название одной из его книг. Труда тяжкого, удручительного в будущем не станет. Всякий акт жизни человеческой будет актом наслаждения.

ЧЕРНОУСОВ: Какие успокоительные виды, граф! Но как им поверить?

КСЕНОФОНТ: Между тем это доказано. следить за наукой, надо больше читать, корнет.

ЧЕРНОУСОВ: Назвав эти чаяния успокоительными я имел в виду эти будущие акты наслаждения, а не мое печальное военное звание, о котором вы мне без жалости напоминаете.

КСЕНОФОНТ: Вы должны всецело посвятить себя моей идее. Освобождение крестьян — вопрос решенный. Дело только в сроке, когда оно будет возведено раскриптом. Между тем работы подготовительных комиссий, вроде, например, той, во главе которой стоит мой дядя, развиваются в ложном направлении. Их предложения основаны на идее выкупа усадебной оседлости отдельными крестьянами и их наделения обособленными полевыми угодьями, на создании, другими словами, крестьянина-собственника и, в дальнейшем маклака-стяжателя. Но вы, мне кажется, не слушаете?

ЧЕРНОУСОВ: Что вы, граф, напротив! Я жадно ловлю каждое ваше слово.

КСЕНОФОНТ: Между тем, должна ли Россия идти по пути, заведшему в тупик цивилизацию Запада? Надо ли нам повторять чужие ошибки? Сохранившиеся у нашего народа формы общинного землевладения подсказывают нам более благодетельные решения.

Уклад освобожденной деревни надо задумывать на началах мирского общественного устройства, задатки которого надо беречь как зеницу ока. Вы все время мне что-то порываетесь сказать.

ЧЕРНОУСОВ: Я плохо разбираюсь в тонкостях сельского хозяйства. У меня свое горе, граф. Я вам о нем говорил, но видимо вы о нем забыли. По выпуске из корпуса мне выдали пятьсот рублей казенных денег на обмундирование. Я даже маменьке думал выгнать сотню, к которой направляюсь.

КСЕНОФОНТ: И все растратили?

ЧЕРНОУСОВ: Виноват. Погодите. Я по порядку.

КСЕНОФОНТ: До последней полушки?

ЧЕРНОУСОВ: Я не догадался отделить во-время свои деньги от чужих. Они и перемешались. Ну какой я счетовод, в самом деле! Правда есть у меня рука в уезде, так, седьмая вода на киселе, маменькин опекун или воспитатель, лицо с влиянием, но гроза человек, строгости невероятной, здешний капитан-исправник Стратон Налетов.

КСЕНОФОНТ: Вы в радости с этим бурбоном-винодралом?

ЧЕРНОУСОВ: Я бы так о нем не отзывался!

КСЕНОФОНТ: Бросьте вы этого бурдалака и не показывайтесь ему на глаза. Все это — ваша растрата, ваша карьера и так далее и так далее, уладится совсем по-другому. Вы поедете со мной в Пятибратское. Я вас представлю дяде. Он — ангел доброты. Разумеется не под горячую руку. В такие минуты бешенства он способен схватить целый померанец компактный за ствол и многопудовой кадкой саданет вас по голове или запустит в вас настольной керосиновой лампой горящей.

ЧЕРНОУСОВ: Большой нездержанности человек.

(Входит Евсей, молодой крепостной Ксенофонта)

КСЕНОФОНТ: Что тебе, Евсей?

ЕВСЕЙ: Самовар поспел. Прикажете подать?

КСЕНОФОНТ: Засыпь три щепотки. Мы всех на станции напоим. Вынь из погребца непечатого лорда Кольбера и откупорь. Жалуете ли вы ром к чаю, мой дорогой Коля-побратим?

ЧЕРНОУСОВ: Какой разговор? Не привык пить иначе.

ЕВСЕЙ: Пошто новый начинать? Надо старый кончить.

КСЕНОФОНТ: Печенье, запуск, разносолу, как обыкновенно. Да постой, куда ты, голова седовая? Скажи вот их благородию господину корнету, как по-твоему крестьян надо на свое довольство выводить? С общественной землей или с душевным наделом?

ЕВСЕЙ: Не можем знать, ваша светлость! Не нашего ума дело.

КСЕНОФОНТ: Нет, зачем же отделяться казенными ответами? Чем играть в незнайку, ты лучше прямо скажи, что думаешь, без страху. Даром что ли я учил тебя, беседовал с тобой?

ЕВСЕЙ: Премного вами благодарен.

КСЕНОФОНТ: Опять заученные фразы.

ЧЕРНОУСОВ: Оставьте его в покое, граф. Честное слово, я не чувствую ни малейшего влечения к премудростям сельского хозяйства. Чем забивать ему голову этой механикой, пусть лучше действительно спроворит нам чаю да рому изобретет, а то, как бы правда, не дай Бог, самовар не заглох или не ушел бы.

КСЕНОФОНТ: Нет, почему же. Не люблю оставлять начатого. Надо довести дело до конца. Он нам непременно скажет свои соображения по поводу готовящегося преобразования. Развяжи, наконец, как-нибудь язык, Евсей. Не прикидывайся дубьем.

ЕВСЕЙ: Если на то ваша графская воля, наше мнение знать, как нам поперек становиться? Само собой разумеется, ежели взять отцов и дедов, в наше время порядком отпустило против прежнего, много привольнее и слабже. И чтобы касаясь того, чтобы человека от барина — на все четыре стороны уйтить отпустили, так это, конечно, одни кофейные грезы дворянские для провождения времени, одни чайные господские беседы. Ничему такому никогда и быть не может.

КСЕНОФОНТ: То-есть, чему это никогда не бывать? Объяснись, пожалуйста, Евсей, не понимаю.

ЕВСЕЙ: Не будет того, чтобы барин своей охотой людям

волю дал. Небылица это несбыточная, не может того стать!

КСЕНОФОНТ: То-есть, как это не может стать, когда кругом только об этом и разговору и когда я сам, твой законный хозяин, тебе это говорю и тебе в этом ручаюсь своей собственной графской честью?

ЕВСЕЙ: Эх, ваше сиятельство, мало ли об чем в гостинной люди молодые благородные толкуют? Так всему и верить. Особливо вы, ваше сиятельство, не в обнос слово сказать, чисто какое дитя малое. Иной бряхнет нивесть что, может даже такого слова на свете нет, а вы уши развесите и всякому бреху вера, чисто какой блажной, ей Богу правда!

КСЕНОФОНТ: Ах ты неуч, невежда. Как ты смеешь, негодяй, отзываться о своем господине!

(Замахивается, намереваясь отхлестать Евсея по щекам. Евсей стоит навытяжку, не защищая лицо руками. Собирается публика, любопытствуя, что будет дальше, но увидав, что Ксенофонт удержал руку, разочарованно расходится. С дороги доносятся раскаты почтового рожка и трезвон колокольчиков. В зале раздаются восклицания: »Великий князь!« Многие устремляются к окнам в глубине зала. Конеч помещения по направлению к сеням пересекает Кубынько, ковыляя на деревяшке).

КСЕНОФОНТ (закрыв со стыда лицо руками с пафосом, театрально): Какой позор! В каких скотов превращает нас самих это проклятое рабовладение!

(Уходит за Черноусовым, следующим в свою очередь за Евсеем, который идет собирать к чаю)

ДЮМА: Тут происходило что-то поучительное. Преведите мне, пожалуйста, о чем говорили? Кто этот молодой человек.

САША: Я уже говорил вам. Это Ксенофонт Норовцев, троюродный племянник графа. Он уверил себя, будто он последователь господина Фурье. Именно об этом он и рассуждал. Он доказывал, будто при освобождении крестьян и наделении землею в собственность...

ДЮМА: Простите, я вас перебыю. В каком размере?

САША: Еще не установлено в точности, и я толком не знаю. Предполагается, кажется десятины по три — по четыре на семью.

ДЮМА: Это мне ничего не говорит. Сколько это выйдет на акры?

САША: Если я не ошибаюсь, это будет акров восемь или десять. Но я не уверен.

ДЮМА: Это очень мало. Но я отвлек вас в сторону. Так о чем же говорил молодой граф?

САША: Он выразил опасения, как бы закрепление земли за крестьянами отделенными самостоятельными долями не превратило их в будущем в корыстолюбивых воротил мироедов, пауков и высасывателей прочего деревенского люда. Неосторожное проведение реформы, по его мнению, может подточить чувство спаянности и круговой поруки между крестьянами, свойственное, как ему кажется, старому деревенскому укладу.

ДЮМА: Очень законное опасение в устах завязтого фурыериста. Увлечение социальными идеями — любимый конек русских. Граф поднял руку на своего слугу и удержал ее. В этой сцене было что-то отечески-семейственное, как между своими, хотя он содержит слугу, разумеется, по вольному найму.

САША: Нет, это его крепостной.

ДЮМА: Как, человек, объявляющий себя фурыеристом, владеет невольником? Какое расхождение между взглядами и поступками! Значит его убеждения неискренни?

САША: Нет, может быть, они очень чистосердечны. Но у нас не любят размениваться на частности. Наши свободолюбцы заняты спасением целых народов. Предмет их попечения все человечество, а не отдельные люди.

ДЮМА: Какая показная добродетель! Может ли быть что-нибудь более отвратительное? Не обижайтесь, пожалуйста. Прошу, простите меня.

САША: Нет, это не лицемерие, как вы полагаете. Несколькими веками несамоостоятельности под татарским владычеством задержали развитие нашей государ-

ственности. У нас отмерло или ослабло гражданское чувство трезвой повседневности и личного достоинства, зато мотивы предопределенного избранничества и всечеловеческой взаимности, почерпнутые из священного писания, достигли большей силы, чем где либо на свете.

ДЮМА: Вопрос о такой же двойственности я хотел предложить в отношении графа. Говорят актеры и актрисы его театра — его крепостные. Не могу этому поверить. Неужели это правда? Как тогда согласовать это обстоятельство с нравственным обликом, которой ему приписывают, и его общественным призванием, как поборника освобождения крестьян. Отчего он не отпускает своих артистов на волю? Или он тоже привык тратить на мелочи и гнушается задачами, размера которых не охватывает всего земного шара?

САША: Напрасно вы язвите. Барщина то-есть прямая трудовая повинность крестьян на помещика давно заменена в Пятибратском оброком, то-есть таким родом денежных отношений, которые отчасти освобождают крестьянина в отношении труда на стороне и свободного передвижения. Или я скажу вам по-другому, чтобы вам было понятнее. Графские крестьяне уже и теперь временно-обязанные, то-есть перешли в Пятибратском в тот разряд, какой составляют все крестьяне в России в годы по освобождению. Что касается актеров, то они вообще у графа на особом положении, и он к ним привязан больше, чем к членам своей собственной семьи. Наконец, чтобы сказать главное, как председатель губернского комитета и, кроме того, через свои высокие дворцовые связи граф достоверно знает, что не дальше чем через год все русское крестьянство получит свободу по именному указу, а ускорить эту меру у себя в имении мешает ему родня, согласие которой во всех важных случаях руководства имением требуется законами о майоратах.

(Сзади сцены, из скрытого аркою закоулка, где может быть, находится стойка буфета, сливающаяся в сплошной гул и не разложимое на отдельные звуки рокотание чьего-то надменного голоса)

ДЮМА: Какая приятная дикция! Этот господин пересыпает свою речь французскими словечками. У него образцовое парижское произношение. Если это не граф, то во всяком случае, какая-то необыкновенная, значительная личность.

САША: Ничуть не бывало. Это кругом пропившийся помещик Евстигней Кортонской. В спорном звании ценителя искусств и меломана он гостит годами у знакомых помещиков, переезжая из имения в имение. Он все промотал, землю, людей, движимость и недвижимость. Единственное его имущество — двое оставшихся дворовых старик дядька Гурий и старуха мамка Мавра. Они ютятся в одной из нежилых развалин его обратившегося в пустошь одичалого хуторка. Они слишком стары, чтобы он мог извлекать какую-либо пользу из труда их рук. Но они души не чают в своем былом воспитаннике и поддерживают его по другому. Как бы тайно и вопреки его воле они побираются божьим именем по большим дорогам и поданной милостыней добывают ему деньги на карманные расходы.

ДЮМА: Но как это возможно? По-видимому, это человек с понятиями, тонкий образованный. Из-за шума на станции плохо слышно, что он именно говорил. Но я узнал предмет его декламации. Это было кусочки монолога из Сида. Обиравание нищих в свою выгоду и карман! Это невероятно.

САША: Этот отрывок он заучил ребенком под руководством гувернера и помнит, потому что у него нет других познаний, которые бы вытеснили этот столбец из памяти. Возможно он проведаль о вашем присутствии на станции и пустил отрывок нарочно в ход, чтобы блеснуть перед вами как бы нечаянно. Но должен предостеречь вас от него так же, как от Ксенофонта Норовцева. Не обращайтесь к нему, будто его не замечаете, а то не рады будете!

(Глубину сцены пересекают нищие Гурий и Мавра в лохмотьях с котомками и посошками. Подходят к Кортонскому)

МАВРА: Насилу догнали, Стигнеюшка! Снег. Ноги у нас старые. Семеним, семеним, семеним, видим издали, ты побежал к Селиверсту на станцию по лесенке. Думаем как бы пробраться втихомолку, чтоб не увидели, а то не пустят к соколику. Шарфик вот подали, принесла тебе. Оберни шейку, не застудил бы горлышко. Помнишь, месяц у вдовы Скилидовой промаялся лихоманкой.

КОРТОМСКИЙ (*грубо делая вид, что их не знает*): Куда, куда, побир-ушки? Кто вас пустил сюда? Здесь публика чистая, приличная. Не место вам тут вшивым, нет вам сюда ходу.

ГУРИЙ: Не гони, сами пойдем, не станем страмить тебя. Только сделай милость, не хлещи ты виниша этого окаянного, как его имя богопротивное? Не выговорю. Вроде как бы по нашему дом покинули до гибели.

МАВРА: Он-от Гурьюшка, доппель-кюммеля не выговорит, Евстигнеюшка. Не выговорит доппель-кюммеля.

ГУРИЙ: Все равно как ни говори, до кикиморы договариваешься. Ты неоклепыш что в толк возьмешь. Кабы ты был непьющий, кто тебе препона? Лакей еже можешь вместити. Другое дело, как которые пьющие. Те здоровья нежного, яко сосунки аль чада малые. Тем надо беречься.

КОРТОМСКИЙ (*выталкивая их в шею*): Вон, вон! Вам подай повадку — весь дом изгадите. Знать вас не знаю, кто вы такие, околесной вашей слушать не хочу.

(Незаметно берет от них пригоршню меди. Нищие уходят. Мавра утирая слезы, Гурий покачивая головой. Кортормский выходит на авансцену, останавливаясь за несколько шагов до уголка, где сидят Саша и Люма. Он знает, что Дюма наблюдает его. Он пьян, рисуется и паясничает)

КОРТОМСКИЙ: Сыропуст на носу. Покаянные настроения. Такая картина. Надо молиться: покаяние отверзи ми двери жизнедави, то биш, милостиве помилуй мя падшего. Но я исправлюсь, такая картина, я исправлюсь через день с месяцем без двух годов. Ха-ха-ха!

САША: Слышите ли вы только, что вы носите? Как вам на самом деле не стыдно такую [ерунду] плести.

КОРТОМСКИЙ: Ветхопещерников Александр, вон! Ветхопещерников молчать! Просветитель юношества! Другой, такая картина, утром глаза продрал, первое слово: »Как у нас нынче на дворе, унялся ли буран« Мне такая картина, на завтрак два яйца в сматку. А Евстигней Кортумский только проснулся, первое слово: »Тра-ля-ля-ля-ля-та-та« *(напевает такт моцартовской фантазии)* О Мозар, о Буальдые, о божественное искусство! Кругом все в голос: »Великий князь! Великий князь« Ну я, естественное дело, почистился, нарядился. А на поверку вместо великого князя, куда ни повернись, такая картина, везде Ветхопещерников Сашка торчит, все глаза мозолит.

САША: Вы бы лучше на ваших пестунах не ездили, ими не понукали. Они вас выходили. Мы сейчас видели, как вы с ними обращаетесь. Стыдно, сударь. Да и фонтан красноречия бы остановили. Просто уши вянут, что вы только мелете!

КОРТОМСКИЙ: Ах ты, курицын сын, кошкино отродье! Отца твоего, такая картина, кобель сглодал, так он, видишь ты, тебя имел в предмете, куском ошибся.

САША: Меня тогда на свете не было, жалкий вы шут гороховый!

(Заднюю часть сцены пересекает и скрывается за левым краем арки Прохор Медведев)

САША *(обращаясь к Дюме)*: Вот тот чудо-делец, сообразительный, даровитый, о котором я вам рассказывал, невинно осужденный по Сумцовскому делу.

(Дюма вынимает карандаш и записную книжку, и делает несколько шагов вглубь зала. Навстречу отворяется дверь с улицы и на станцию входят несколько молодцеватых представительных военных в небрежно накиннутых зимних шинелях. Ящики и вестовые вносят за ними дорожные ящики и баулы.)

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Здравствуйте, господа.

(Толпящиеся в глубине зала, к которым присоединяется Дюма, отвечают гулко и неразличимо)

ГОЛОСА: Здравие желаем, ваше императорское высочество!

ГЕНЕРАЛ ОБЛЕПИХИН: Доброго здоровья, милостивые государи!

ГОЛОСА: Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!

(Облепихин говорит что-то на ухо великому князю. Раскатистый смех, августейший и превосходительный)

ОБЛЕПИХИН (к Кубыньке): Отставной севастополец?

КУБЫНЬКО: Так точно, ваше превосходительство!

ОБЛЕПИХИН: Чей сам будешь?

КУБЫНЬКО: Отставной шкабс-капитан Селиверст Кубынько.

ОБЛЕПИХИН: Где ногу оторвало?

КУБЫНЬКО: В балке под Балаклавой.

ОБЛЕПИХИН: Не тужи, отец командир. Ты на деревянной веселей, чем на своей поспеваешь. Не угнаться.

КУБЫНЬКО: Не изволю тужить, ваше высокопревосходительство. Так точно. Рад стараться.

ОБЛЕПИХИН Ваше высочество, разрешите донести. Подставных и сменных в Пятибратское сколько душе угодно, но не в них дело.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Знаю, знаю, дружок — дорога. Снежные завалы нас задержат, я знаю. Придется покориться.

ОБЛЕПИХИН: Однако тут есть герой местных легенд, богатырь гостинщик. Либо обещает нам, он нам облегчит привал и вас, ваше высочество, должным образом примет и оставит; либо, веряют, он берется нас доставить сегодня в Пятибратское, и снежные завалы, сугробы и ухабы его ямщикам не препоны.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Ах, как красочны эти наши самородки, эти выходцы из народа! Это, по-видимому, тот ошибочно подвергнутый телесному наказанию хваткабачник, о котором, помните, генерал нам рассказывали дорогой.

(Публика на станции окружает военных более плотной стеною. На авансцену к Саше проходит Прохор Денисович Медведев, уверенным и знающим движением находит конец зановески, которая на кольцах ходит между колоннами арки и задерживает ее)

ПРОХОР: Мое почтение, Александр Гедеонович. Что на станции делаешь?

САША: Из имени послали путешественника французского, писателя, встретить.

ПРОХОР: Ну и что ж. Хорошее дело!

САША: Мочи моей нет. Прохор Денисович. Круглые сутки, день и ночь подряд сдерживаться, поддакивать, притворяться. Будь моя воля, заложил бы я пороху бочку подо все их мироустройство, поднес бы фитиль горящий и всю эту музыку пустил на воздух.

ПРОХОР: Зачем ты меня в свои заветные думы вводишь, заговорщик? Я тебе уже говорил одна, мы люди разные. Ну, приключился такой грех. Неизгладимый, страшный, Гедеоны Васильевича на смерть пес затерзал, значит всех псов надо истребить на земле, чтобы вовсе не было собак на свете?

САША: Ах, причем тут отец и его смерть, как ты непонятлив Прохор! Я о том, как устроена жизнь кругом, говорю это вещи непростые. Нельзя о них судить так, с кондачка. Это продумать надо. Об этом книги написаны, труды.

ПРОХОР: Знаю я эти рассуждения. Со мной твоих мыслей люди в тюрьме сидели, каторгу отбывали. Просвещали, наслушался. Обнищала Русь помещичья сама и нищих развела. Сейчас над ней солнце взойдет. Сейчас будет время самодельных, вроде меня, оборотистых, жадных до работы. Они Россию поправят. Дай ты мужику после воли очухаться, на ноги стать, к свету подняться. Не можете вы видеть, чтобы кто-нибудь трудами богател, был себе хозяином, ни в ком не нуждался. Все вы за спасенье души его опасаетесь. Не пойдет он тогда живьем на ваше новое небо безбожное, выдуманное, книжное,

раскольники наизнанку, ханжи и пустоцветы.

(Зановеска отдергивается. В отверстие арки проезжающие военные, смотритель Кубынько, Ксенофонт с Евсеем и Черноусовым, Дюма, Евстигней Кортомский, генерал Облепихин и великий князь)

КУБЫНЬКО: Вот человек, ваше высочество, о котором я вам осмеливался докладывать.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Весьма приятно *(Прохору)* Про тебя тут говорят — ты штуки откалывать горазд? С горы на гору на тройках по воздуху перелетаешь, как Змей Горыныч.

ПРОХОР: Чудесами промышляем, ваше высочество. Окромя чудес никакой другой отраслью не занимаемся. Извольте приказать, духом перенесем в Пятибратское.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Я бе не прочь, однако, вперед перекусить, подкрепиться у тебя.

ПРОХОР: Чем Бог послал. Покорнейше просим осчастливить.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Какие ответы меткие и сочные! Вы не согласны, генерал?

ОБЛЕПИХИН: Бойкие до чрезвычайности.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Скоро, скоро разогнешь ты свою измученную спину, скоро подымешься к полной славе наш бедный, самобытный, талантливый народ!

КОРТОМСКИЙ: Простите за дерзость, ваше императорское высочество, такая картина, жулик он и вор этот черный люд и недостоин ваших августейших похвал. А также этот маклак кабатчик Прохор сеченый зад. А лучше как член, такая картина, благополучно царствующего императорского дома, осветивший своим проездом наше почтовое захолустье, позвольте в моем лице...

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Боже, как тяжело. Скорее пожалуйста!

КОРТОМСКИЙ: Верноподданейше повернуть к вашим стопам голос истинного дворянства.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Да кто вы сами такой? Как вы осмеливаетесь перебивать меня и давать советы?

КОРТОМСКИЙ: Имею счастье представиться: опустившийся местный дворянин Евстигней Кортомский, в наш страшный век всеобщего неверия, такая картина, доверенный до прискорбного порока и падения.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Ничуть не страшный век. Я не согласен. Наоборот, чудесный, великолепный век, полный захватывающих обещаний, прекрасное заманчивое время.

КОРТОМСКИЙ: Опустившийся дворянин, впавший в бедность, такая картина.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Я сам тоже дворянин, милостивый государь господин Кортомский, и своим дворянством вы меня не удивите. Но вы еще и назойливый фигляр и развязный нахал, сверх того, избавьте нас от вашего общества. Вы нам мешаете и надоели. Мы сейчас отправляемся к тебе, любезный. Опростай нам место в красном углу. Как, генерал, называется кабак в народе?

ОБЛЕПИХИН: Под зеленой елкой.

ПРОХОР: Так точно, ваше превосходительство. Монастырская гостиница пьяного согласия.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Востер шутить, брат. Видать из солдат кантонистов?

ПРОХОР: Никак нет, ваше высочество.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: А откуда выправка?

ПРОХОР: Из арестантов. По зеленой улице гоняли. И в Сибирь.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ: Все-таки школа. В военных руках побывал!

(Все смеются)

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ КАРТИНЫ